Евгений Рожков

ДИКИЙ ЗВЕРЬ КОШКА



Евгений Рожков

ДИКИЙ ЗВЕРЬ КОШКА

Рассказы



Магаданское книжное издательство
1975



Евгений Фролович Рожков родился в 1943 году в Рязанской области, в поселке Батьки.

После окончания сельскохозяйственного техникума на Кубани в 1961 году его направили работать на Чукотку.

Несколько лет был зоотехником в оленеводческих стадах Алькатваамской тундры. Потом служил в армии, в Хабаровске, затем снова вернулся на Чукотку. Работал в окружном комитете комсомола, на стройках в Анадыре, много ездил по Северу.

Писать Евгений Рожков начал давно, когда еще учился в техникуме. Здесь его литературные опыты горячо одобрила преподаватель литературы Зоя Михайловна Топтыгина.

В 1962 году в газете «Советская Чукотка» был опубликован первый рассказ. Позднее рассказы печатались в областных газетах, в альманахах «На Севере Дальнем» и «Родники» издательства «Молодая гвардия».

В 1974 году был участником Иркутского зонального семинара молодых литераторов. На этом семинаре Е. Рожкова рекомендовали на VI Всесоюзное совещание молодых писателей в Москве.

Е. Ф. Рожков — активный член Чукотского литературного объединения.

Сейчас он живет и работает в Анадыре.

СВЕТЛАЯ ПРОЗА

С первыми рассказами Евгения Рожкова я познакомился года четыре назад в Магадане, куда был приглашен на семинар молодых литераторов. Тогда одна из его работ мне показалась особенно зрелой и новой. Я имею в виду рассказ «Дикий зверь кошка». Отправленный мной в Москву, он появился вскоре в альманахе «Родники» издательства «Молодая гвардия».

С тех пор Евгений Рожков стал постоянно присылать мне свои новые произведения. Я читал их всегда с интересом, давал автору советы и видел, как много работает он над словом и формой. Проза у него светлая, нежная. Он любит землю, на которой живет, любит людей, которые его окружают. Автору доступно проникновение в сложный мир человеческой души. Природа и люди для Евгения Рожкова слиты воедино, неотделимы друг от друга и друг от друга зависимы. У Рожкова человек как бы вписан в природу, понимает и принимает ее красоту.

«Он стоял на вершине перевала несколько минут, и, когда собрался идти дальше, вдруг краешек солнца выглянул из-за облаков и произошло чудо. Тундра вместе с сопками, белыми берегами и голубой, причудливо извивающейся, впадающей в море речкой засияла, заискрилась. И было больно смотреть на эту светящуюся, с серебряными отблесками белизну, но он смотрел и не мог оторвать взгляда.

За долгую тридцатилетнюю жизнь здесь, у моря, в долине реки Ныгчеквеем, десятки, сотни раз видел он снегопад, это белое свечение, и только теперь показалось оно ему чудом. Он снял шапку, стал мять ее в руках, тяжело, прерывисто дыша... Легко было на душе у охотника. Спокойная, мудрая, радостная сопричастность к красоте земной навевала на него эту легкость. Приятно было сидеть, приятно было смотреть на море, на небо, на снег и на бегающего по берегу здоровенного белого пса».

В предисловиях вообще есть доля опасения обмануть ожидания читателя. Но верится мне, что читатель

не будет разочарован, прочитав рассказы Евгения Рожкова. И еще, нельзя забывать, что это первая книжка молодого прозаика из далекого Анадыря, первый серьезный шаг в литературу. Сборник его рассказов согрет чувством любви к земле и людям. Это я повторяю еще раз для того, чтобы подчеркнуть главное, что есть в рассказах начинающего литератора. Не удержусь и приведу заключительные строки рассказа «Айвэрэтгтэ — северные вечера».

«Удивительна лунная, звездная, тихая, морозная чукотская ночь! Удивительна и прекрасна. Она дышит покоем и вечностью. Бесконечно будут сиять эти крупные, с голову, звезды, бесконечно будет светиться эта круглая, как бубен, луна. И живет во мне радостное, необычное ощущение: будто я — частица этого снега, этой земли, этого звездного неба, будто и я вечен, бессмертен, как эти седые сказочные тихие дали, как эти угрюмые таинственные горы, как это лунное, звездное небо, как это серебристое снежное свечение».

Это музыка, которую доступно услышать не каждому!

Владимир КОЛЫХАЛОВ.

Айвэрэттэ — северные вечера

Вчера стихла пурга. Улеглись снега белые, сыпучие и спяют теперь на солнце. Похорошела, преобразилась тундра, будто надела подвенечное платье.

Зализала пурга неглубокие овраги, упрятала под снега кустарник в низинах, следы зверей и человека, русла рек и долины озер. Нет ни клочка черноты на огромном бесконечном белом пространстве. Куда ни посмотришь, куда ни кинешь взгляд — кругом белизна. В тени она слегка синеватая, а на солнце до боли в глазах сверкающая. Суровый необычный мир скуп на краски.

Солнце стоит еще высоко, но по тому, что длиннее стали тени, видно: день подходит к к концу.

— Посмотри, Тынетегин: во-о-о-н-н там два теленка лежат... Иди подними их.

Аканто махнул рукой, показывая направление и продолжая медленно идти, уже обращаясь, видимо, ко мне, говорит:

— Телят зимой поднимать нужно, а то будут лежать, пока не замерзнут. Глупые зимой телята и ленивые, как наш Тынетегин.

Худого, высокого, даже немного сгорбившегося от своего роста, благодушного, медлительного Тынетегина этим не расшевелить. Он идет следом за стариком, без конца ухмыляясь.

— Я кому говорю? — Аканто останавливается и поворачивается к нам лицом.

— А пусть лежат...— продолжая улыбаться, отвечает Тынетегин.— Устали, вот и лежат.

Аканто молчит. Глаза его, и без того узкие, почти закрываются в прищуре. Старик сердится. Это Тынетегин знает и потому, хотя и медленно, нехотя, идет в сторону, где лежат телята. Идет вразвалочку, качаясь из стороны в сторону, будто пингвин.

— Вот молодежь пошла! — сокрушается старый бригадир.— Ленивая. И стариков не боится.

Аканто низкорослый, широкоплечий, большеголовый, крепок на вид, хоть ему уже шестьдесят. Ходит он осторожно, будто рысь на охоте, готовая в любое время прыгнуть на добычу.

— Раньше,— не унимается он,— отхлестал бы чаатом, так послушным стал бы. Много пользы было бы. Теперь, говорят, нельзя этого делать.

Голос у старика глухой, с хрипотцой изнутри, прокуренный вконец.

Морозно. На Чукотке в январе стоят лютые холода. Но сегодня не чувствуется мороза, потому что тихо и солнечно.

Спокойно пасется стадо. Далеко растянулись олени, по всему склону перевала. Чымны — быки-кастраты с могучими ветвистыми рогами разбивают копытами твердый наст, разгребают глубокий снег и выщипывают в воронке ягель. Возле них толкаются телята, слабые важенки. Как только бык отойдет от воронки, в нее влезает один, а то и два теленка. Ветвистые рога у быка-кастрата упираются в снег и не дают как следует выщипать ягель в воронке. Не так-то быстро утолить голод этому великану, идет он на новое место и снова разбивает наст, выгребает снег. Слабые, еще не набравшие сил телята не могут разбить твердую обледеневшую снежную корку. Бьют, не щадя сил, ранят до крови копыта, но слишком тверд скованный морозом и утрамбованный ветрами снег. Вот и ходят телята

за чымны, знают, что после него обязательно останется в воронке ягель. Мудра природа, одним учиняет помехи, чтобы помочь другим.

Но не менее мудрым должен быть и человек. Не выгодно держать в стаде много быков-кастратов, приплод не дают, стадо не множится. А коль стадо не растет, так осенью забивать на мясо некого будет, хозяйство дохода не получит. Мало держать в стаде быков-кастратов тоже не выгодно, в суровую зиму в гололед не смогут добыть из-под снега телята корм, и помочь им в этом будет некому. Вот и находи золотую середину, да не так-то ее легко найти. Опыт нужно иметь, большой опыт.

— Посмотри! Посмотри! — громко кричит Аканто.— Видишь пятнистую важенку? Худая была осенью, копыткой болела, а теперь смотри — не узнать!

Доволен старик, смеется. «Жирные олени — счастье пастуха». Вот и нет уже на лице прежней озабоченности, прежнего недовольства. Засветились глаза у старика, разгладились на лице морщинки, помолодел прямо-таки.

— Хе-хе-хе...— покряхтывает он довольно.— Я осенью думал, что нужно забить такую худую важенку, все равно толку от нее не будет, не принесет приплода. Ошибся, хорошо. Смотри, какие у нее округлые бока? Молодец!

Развеселился старик.

Мы медленно идем через все стадо. Молодые оленицы — ванкачкор, пугливо хоркая, отбегают от нас, вскинув красивые головы. Ноги они подбрасывают высоко, тело несут над землей, ну просто балерины. Равнодушные чымны поднимают свои могучие головы, спокойно, безразлично смотрят на нас, медленно отходят в сторону. Телята совершенно не замечают и не боятся людей, лезут в свободные воронки дощипывать ягель.

Что-то долго нет Тынетегина. Наверно, сидит за бугорком и спокойно покуривает. Ага, вон идет. Переваливается с боку на бок, руки растопырил.

Мы остановились, поджидаем пастуха. Сейчас Аканто начнет отчитывать его. «Кто же так ходит? Пока дойдешь от одного конца стада до другого, теленок замерзнет». И Тынетегин заранее знает, что его будут ругать, но только ухмыляется: привык. Аканто подзывает пастуха, кладет на его плечо руку и вместо ворчания неожиданно спрашивает:

— Ты помнишь, Тынетегин, ту пятнистую важенку, что мы хотели забить осенью на мясо?

Лицо у Тынетегина вытянулось от удивления. Этого разговора он не ожидал.

— Ну, помню...

— Посмотри-ка, какая это теперь хорошая важенка стала.

На лице старика счастливая улыбка.

Мы идем дальше цепочкой. Снег похрустывает под ногами на разные лады.

Солнце подошло уже к самым вершинам сопок, что виднеются у горизонта. Скоро оно спрячется за их склонами и не покажется всю длинную северную ночь. А пока оно лишь пожелтело и еще радует нас.

Тени наши стали совсем длинными и тонкими-тонкими. Особенно длинная и тонкая тень от Тынетегина. Он улыбается и говорит мне мечтательно:

— Вот если бы я был такой высокий, Аканто ругал бы меня, а я ничего б не слышал...

Снег вокруг тоже слегка пожелтел от желтого закатного солнца. На небе появились облака. Они теснятся еле видимые у горизонта над вершинами Анадырского хребта, они прижались друг к другу, будто испуганные дети. Утром следующего дня, а может даже ночью, они вырастут, окрепнут, превратятся в огромную черную тучу, и тогда грянет на землю пурга.

Аканто смотрит в сторону гор из-под руки, но, видимо, ничего тревожного не замечает. Лицо его все еще радостно.

Если там, над горами, не будет на закате туч, значит, и завтра будет хорошая погода.

Но вот ветер стих, притаился, хитрит. Нет, не к добру это...

— Аканто, а я ту-чу ви-и-жу,— растягивая слова, говорит Тынетегин.— Вот, смотри, над самой вершиной горы. Пурга будет.

— Нет, это не туча, это белое облако, а в таких облаках не бывает ветра,— уверенно отвечает Аканто.

Незаметно для себя проходим через все стадо и поднимаемся на небольшую возвышенность. Отсюда открываются необъятные белые-белые дали. Снега, снега... Они чуть-чуть пожелтели, и потому теперь не кажутся такими холодными, отчужденными и безжизненными, как раньше. Даль, бесконечная снежная даль...

Почему-то вдруг хочется беспричинно засмеяться, запеть, закричать протяжно: о-о-го-го-о!

— Ты что, оглох? — Тынетегин толкает меня в бок.— Слышишь, Аканто зовет.

Я бегу за бригадиром, он идет не спеша вниз под горку, туда, в сторону яранг. Две яранги наши, почти наполовину засыпанные снегом, хорошо видны отсюда. Они стоят чуть-чуть ниже, на следующем бугре.

— Знаешь, что я надумал теперь,— говорит тихо старик,— не пора ли нам новую ярангу поставить? Тесно стало.

— Кто ее хозяином будет? — осторожно спрашиваю я.

— Тынетегин давно просит.

— Ого! — искренне удивился я.

Что это сегодня со стариком? Давно просит Тынетегин, чтобы поставили ему отдельную ярангу, жениться парень хочет, невеста у него в поселке. Вот уже почти год ждет Тынетегин. То Аканто говорил, что шкур для рэтэма нет, то дерева на остов негде было взять, то еще что-нибудь, но все знали, причина в другом — считает Аканто Ты-

нетегина пустым, легкомысленным, ленивым, а новая яранга — большая обуза для бригады, кочующей за стадом.

Нет, ничего не скажешь, повлияло что-то на старика, не погода ль? Улыбается, глазки черные блестят, и морщины на лице играют, доволен, что удивил меня и еще больше удивит и обрадует Тынетегина.

— Ты только пока не говори ему. Поставим ярангу, пусть тогда радуется.— Аканто подмигивает лукаво, совсем по-детски, весело и игриво.

Вспомнил я: осенью в прошлом году, приблизительно в октябре, когда тундра только слегка была запорошена снегом, когда еще в затишке пригревало скупо солнце и не было лютых зимних холодов, мы проводили в стаде отбивку оленей на забой. Нелегко это сделать — выбрать из четырех тысяч оленей пятьсот самых худших. Командовал отбивкой Аканто. Отбивка подходила к концу, но мы никак не могли поймать одну яловую важенку — ыскэку: резвая больно оказалась. Стадо бурлило, олени метались как угорелые, пастухи с чаатами бегали по стаду, ловили непокорную важенку. Тынетегин подкрался ближе всех к ыскэку, метнул в нее чаат и, уверенный, что захлестнул рога злополучной важенки, резко потянул его на себя. Но в петлю попалась не ыскэку, а другая важенка. Тынетегин — парень сильный, а важенка, видимо, не ожидала такого резкого толчка и со всего маху грохнулась о землю. Когда мы подбежали, то увидели, что она, ударившись о твердую, уже подмороженную землю, разбила себе нижнюю губу и челюсть. Кровь тонкими струйками текла из раны на снег, снег тут же таял, а кровь из ярко-алой превращалась в темную. Важенка была упитанной и еще молодой, и все жалели оленицу: теперь ее придется забить, потому что с разбитой губой она не сможет щипать ягель. Больше всех переживал Аканто, у него тряслись руки и лицо было бледным-бледным, на глаза наворачивались слезы, и он то и дело шмыгал носом, точно простуженный. На

Тынетегина старик не смотрел, старался его не замечать, но, когда тот хотел что-то сказать в свое оправдание, Аканто цыкнул на него:

— Пошел отсюда!

По-моему, с тех пор и недолюбливает бригадир парня. Теперь, кажется, простил.

Где он, Тынетегин-то? Я оглянулся назад. Эге, побежал куда-то, да резво так, кажется, увидел на снегу лежащих телят. Жаль, Аканто не замечает этого превращения, вот удивился бы. Я толкаю старика в бок:

— Посмотри-ка, посмотри...

— Чего?

Старик медленно поворачивается. Тынетегин уже вразвалочку идет к нам.

— Да так,— говорю я.— Тынетегин телят поднял.

— А-а-а...

Старик улыбается.

Мы не спеша идем вниз по склону к ярангам.

Я изредка потираю щеки камусной рукавицей, боюсь обморозиться.

В яранге, в пологе, раздевшись до пояса, мы втроем пьем чай. К нам подсаживаются другие пастухи. И вот уже посыпались шутки, раздается дружный хохот. Омрына, веселая, болтливая старуха, жена Аканто, просовывается в полог и смотрит на нас лукавыми, хитрыми глазками.

— Вы тут хохочете по пустякам, а у второй яранги Тотто и Аретагин устроили состязание по борьбе, все женщины уже побежали смотреть.

Миг — и мы надели на себя кухлянки, еще миг — и мы у второй яранги, что стоит в двадцати шагах от первой. Никого нет, собаки только крутятся, ласкаются к нам. Заходим внутрь яранги, в чоттагине спокойно сидят рядком женщины и сосредоточенно мнут шкуры. Тотто и Аретагин помогают им. Ну, старуха! Ну, Омрына! Всех разыграла! Ярангу потрясает взрыв хохота. И Омрына сама уже здесь,

хохочет, ударяя себя руками о бедра, аж слезы выступили у нее на глазах.

— Вы, мужики, такие глупые, вас легко провести...— сквозь смех бормочет Омрына.

Женщины, что мнут шкуры, никак не могут понять, что случилось, почему все хохочут без удержу. Наконец им рассказывают о шутке старухи, и снова все хохочут.

Ну что ж, коль борьбы нет, рассаживаемся в чоттагине чаевать.

Чаепитие на Севере — дело особое. Придешь — чаем угостят, собрался уходить — снова чаем попотчуют в дорогу. Чай в тундре пьют всюду и всегда. Всесилен чай в тундре. Никто не скажет здесь, что чай плохой, могут лишь сказать, что «чай жидкий», «чай усталый».

Куда б ни шел пастух, куда б ни ехал, а чай всегда с собой возьмет. «Мясо будет, рыба будет, хлеб будет, а чаю нет — с голоду умрешь».

Лучший подарок для тундровика — несколько пачек чая. Летом, когда тепло и даже иногда жарко, оленеводы пьют не крепкий, а «белый» чай, зимой же в лютые морозы и в долгие бесконечные пурги, когда тело от холодов, кажется, сжимается, они пьют крепкий «каюрский» чай.

...Вода вскипела в большом ведерном чайнике. Молодая женщина Анканны, пухлощекая, белозубая, с бровями тонкими и длинными, как чаат, с черненькими живыми глазками, бросила заварку прямо в чайник, который уже снят с огня. Зазвенели кружки, блюдца. Анканны — хозяйка в этой яранге — достала из небольшого сундучка, где обычно хранятся сладости, пачку рафинада. И началось чаепитие.

После обильного чаепития пастухи один за другим стали выходить из яранги на улицу. Отсюда, от яранг, с невысокого бугра видна лишь часть стада. Олени пасутся все там же, на склоне перевала, и окарауливает их пастух Нутелькут. Он ушел в стадо сразу же, как вернулись в яранги

Тынетегин, Аканто и я. Несколько важенок, охочих до соли, толкая друг друга в крутые выпуклые бока, лижут снег, покрытый зеленоватым ледком.

От стада по склону к ярангам идет человек, он ведет двух ездовых оленей — моокор. Это Тавтав — учетчик и самый быстрый бегун во всей Алькатваамской долине. Его жена Аретваль уже копошится у нарты, готовит оленью упряжь. Сегодня очередь Тавтава ехать за хворостом в сторону моря, в устье реки Агтаткооль. Аретваль высокая, крупная, широколицая, она самая сильная, даже сильнее, чем многие мужчины, и самая добрая, и самая тихая. Женщина выпрямилась и выжидающе смотрит в сторону мужа. Лицо ее, раскрасневшееся на морозе, приветливое и доброе.

Вот теперь Тотто и Аретагин действительно затеяли борьбу прямо на снегу. Молодые низкорослые здоровые парни таскают, дергают друг друга за кухлянки, но ни один не осилит другого. Им и чая не надо, дай только побороться. Аканто не пускает их вместе окарауливать стадо: как вцепятся друг в друга, так всю смену и проборются, не заметят, как олени разбегутся.

Борцов обступают пастухи.

— Э-э-э-э-э...— кричат они.— Так дело не пойдет, по-честному нужно бороться, без одежды.

Сбрасываются кухлянки. Тела становятся розовыми от мороза, паруют.

В чукотской борьбе есть особые правила: разрешаются все приемы, за исключением болевых, и борются до тех пор, пока один из противников не сдастся.

Долго борются Тотто и Аретагин. Наконец Тотто ухитряется и дает подножку. Аретагин падает на спину, но тут же выскальзывает из-под Тотто, вскакивает на ноги. Борьба продолжается. Тотто опять бросает противника на землю, но ловкий Аретагин снова выскальзывает из-под Тотто. Пастухи кричат:

— Хватит! Аретагин, сдавайся!

Нет, Аретагин упрямый. Он не хочет сдаваться. Тела у борцов заметно посинели, покрылись легким налетом инея. Вот Тотто наконец изловчился и так прижал к земле Аретагина, что тот не может пошевелиться.

— Сдаюсь! — кричит он.— Пусти! Снег холодный...

Пастухи помогают борцам надеть кухлянки. Тотто доволен, улыбается, а Аретагин хмурый, ворчит:

— Это не честно, я бы не сдался, если бы снег не был холодным...

— Гы-гы-гы...— хохочут пастухи.— Слабак!

— Это кто слабак? Я?!

— Гы-гы-гы...

— Ну давай, давай, кто смелый — выходи! — Аретагин снова сбрасывает кухлянку.

Пастухи мнутся: все знают, что после Тотто Аретагин самый сильный. Вдруг Аканто сбрасывает с себя кухлянку и выходит бороться. Вцепились друг в друга. Аретагин дернул Аканто на себя. Старик и с места не сдвинулся. Крепок еще.

Пастухи болеют за бригадира.

— Подножку, дай подножку!..— кричат все хором.

Из яранги бегут женщины. Впереди всех Омрына. Нет, не устоять Аканто против Аретагина. Новый резкий рывок, и Аканто уж на снегу. Но на Аретагина вдруг налетели всей ватагой женщины, повалили его и держат, ждут, пока Аканто поднимется.

— Ага! — кричат пастухи.— Аканто победил!.. Аканто победил!..

— Это опять не честно,— надевая кухлянку, говорит Аретагин.— Если б не женщины, я б прижал его...

— Аретваль! — кричит старая Омрына.

— Чего? — повернулась к ней женщина, возившаяся у нарты.

— Иди, закопай этого хвастуна в снег!

Пастухи дружно смеются.

— Не троньте вы ее,— шутит Тавтав, поправляя упряжь на оленях.— А то она разойдется и яранги завалит...

Снова смех.

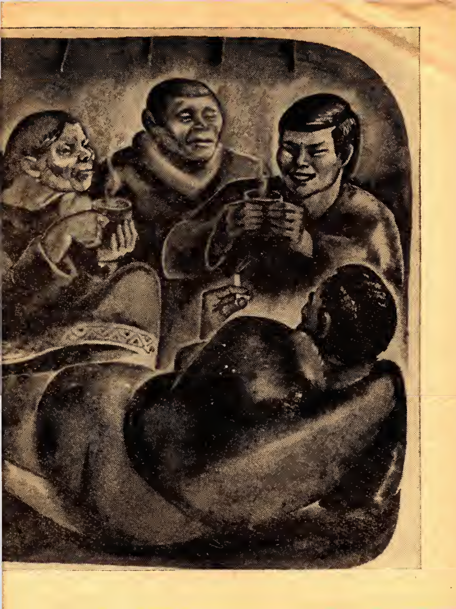
Через час солнце краем касается горизонта. Из желтого оно незаметно превратилось в алое. Огромная полоса неба и земли на западе удивительного светло-алого, неповторимого цвета. И нельзя понять, где же кончается небо и начинается земля. Легкое розовое свечение снега идет почти сразу же от наших яранг, но здесь оно еще слабее, еле-еле заметное, а уж за стадом, за вершиной перевала, оно все ярче и ярче.

Тавтав уехал на оленях за хворостом к морю, ушла в ярангу его жена Аретваль. Тотто и Аретагин пошли в стадо помочь Нутелькуту перегнать оленей на новое место, которое еще вчера присмотрел Аканто, женщины и остальные пастухи зашли в ярангу.

Женщины повесили над костром в холодной части яранги — чоттагине большой медный, черный от копоти котел, наполнили его снеговой водой и рубят на небольшие куски мороженое мясо на ужин. Аретваль сидит на корточках возле костра и мнет сильными руками меховую одежду. Когда мокрый олений мех высохнет, то станет твердым и жестким, и нужно его долго тщательно мять, чтобы он снова стал мягким, пригодным для носки. Через час-другой вернется с дровами Тавтав, одежда его будет мокрой, вот и готовит Аретваль для мужа сменную сухую одежду.

Не торопясь, мирно — не то что мужчины! — ведут женщины свой разговор. Разговор о том, что нужно шить новый рэтэм для третьей яранги, что прохудились торбаса у холостяка Нутелькута и их нужно починить, а для этого надо сделать нитки из оленьих сухожилий, что снег вокруг яранги потемнел от дыма и теперь за чистым снегом надо ходить далеко, что пора перекочевать на новое место, ближе к другой оленеводческой бригаде, и тогда можно будет





навестить друзей и родственников, что пора попросить мужчин съездить к рыбакам за рыбой, потому что скоро кончатся запасы мороженого хариуса и гольца, и что без рыбы одно мясо скоро надоест, что Анканны беременна и нужно следить, чтобы она не делала тяжелую работу, что сынишке Тавтава шестой год и ему скоро в школу... Бесконечно длинны женские разговоры.

Яростно надрываясь, залаяли собаки, всполошились в пологе пастухи, переглянулись в чоттагине женщины: кто-то не свой приближается к ярангам. Женщины повесили над костром еще один чайник: гостей надо встречать свежим горячим чаем. Накинув на плечи кухлянки без малахаев, выскакивают на улицу Аканто и Тынетегин.

— Смотри, смотри... Вон собачья упряжка. Быстро приближается. Охотник, наверное, едет. Только у них такие быстрые собаки...

Далеко-далеко на ровной, уже посеревшей снежной глади видна крохотная, еле заметная точка. Она растет на глазах быстро, будто снежный ком. Через несколько минут можно различить фигуру каюра, взмахивающие руки, а вот уже видны раскрытые пасти усталых собак...

Сквозь узкую щель белого заиндевевшего малахая светятся радостью черные глаза охотника Аляно: кончился долгий путь, он в кругу друзей...

— Еттык! — подходя к остановившейся упряжке, кричит Аканто.

— Ии,— отвечает гость.

Собаки враждебно встречают прибывших собратьев, шерсть на спинах дыбится, они рычат. Псы хватают пастью снег и устало ложатся. Они не лают, даже не рычат: не до того им.

— Илюке, кыш! — цыкает на собак бригадир и, обращаясь к охотнику, спрашивает: — Как доехал?

— Ничего, хорошо. Но чуть мимо яранг не проехал. Спасибо, на свежий след оленьей упряжки наткнулся. Сна-

чала не знал, куда ехать, трудно было понять, куда пастух ехал: от яранги или наоборот, в ярангу, след совсем не четкий. Потом присмотрелся: размашисто, широко олени бежали, значит, еще не устали. Думаю, значит, от яранги пастух поехал: не гнал бы, наверно, оленей, если б ехал издалека.

— Это Тавтав за хворостом поехал.

Тынетегин остался кормить собак, а Аляно с бригадиром зашел в ярангу. Женщины хором поздоровались с ним, охотник каждой поклонился, а особый долгий поклон отвесил старухе Омрыне. Ему помогли раздеться, дали новую кухлянку, сухие меховые чулки.

Старый Аляно щуплый, болезненный на вид. Говорит он шепеляво, слегка присвистывая сквозь тонкие бледные губы.

— Я приехал к вам по делу. Чай у нас кончился и сахару совсем мало. Мясо есть, рыба есть, галет много, мука, масло есть. Всего много, а чая нет. В поселок некому поехать, песец хорошо идет. Хотел к вам послать молодого Ятгыргина, да побоялся, что не найдет. Рыбу вам привез, давно брали, наверное, кончилась?

— Немного осталось,— отвечает Аканто.— Скоро женщины стали бы надоедать: вези рыбу, вези рыбу. Спасибо, выручил. Чая у нас много, бери сколько хочешь.

Вскипела вода, и женщины побросали в котел жирное оленье мясо. Скоро ужин будет готов.

Солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, виднеется только маленький его алый краешек. Погасла алая заря, погасло алое свечение снега, и только кое-где еще на небе розовеют бледные небольшие пятна. Небо посерело, на нем появились первые крупные, пока неяркие звезды.

Тихо-тихо. Крепчает мороз. Ночью он будет таким сильным, что лед на реках и озерах не выдержит и станет гулко, раскатисто лопаться. Нелегко в такую ночь дежурить

в стаде. Холод в любой одежде сковывает. Ходить да ходить нужно, присядешь — уснешь, а если уснешь, то можешь и не проснуться. Правда, я не помню случая, чтобы в тундре замерз оленевод. Об этом, наверное, не вспомнит даже и старый Акапто, хотя он-то пастушит почти шестой десяток.

Вернулись из стада Тотто и Аретагин, угомонились собаки, лежат мохнатыми клубками у яранг. Вот-вот должен подъехать с дровами Тавтав. Аретваль с нетерпением ожидает его. Она то и дело выскакивает из яранги и долго пристально смотрит в сторону моря.

У яранги тихо, пусто. Ушли в стадо олени. Только вот Тагро — пятилетний сынишка Аретваль и Тавтава бегает возле грузовых нарт: то собак донимает, то накинет свой маленький чаат на кем-то брошенный олений рог, бежит сломя голову и кричит:

— Оленя поймал! Оленя поймал!

Мать выходит из яранги, зовет Тагро. Не идет. Разве загонишь его в такую погоду домой?

Вот и Тавтав приехал. Ловко соскочил с нарты и отряхивает с себя снег. Аретваль вышла, стала помогать распрягать оленей. Тяжело дышат олени, устали, рты широко открыты, по-собачьи языки высунуты, морды белые от инея, бока вздрагивают судорожно. Аретваль машет на распряженных оленей руками, те бегут вяло, нехотя. Стадо оленей уже перегнали на новое место, и его теперь не видно, но два старых оленя — моокор обязательно найдут его по следу.

Тавтав идет в ярангу; снимает кухлянку, лезет в полог, ему сразу же подают большую кружку с горячим ароматным чаем.

Сварилось мясо, женщины достают его из котла крючками, режут мелко-мелко и раскладывают на продолговатые подносы. Оленина душиста, пахуча, ее много, целые горы. Да и едоков много, полон полог набился.

Поели мяса, вдоволь напились чаю, но спать еще рано. Пастухи смотрят на гостя — старого Аляно и ждут, не расскажет ли он что-нибудь. Аляно обычно словоохотлив. Но устал сегодня старый охотник, нелегок пройденный по тундре путь. Почти сто километров от нашего стойбища до участка Туманского. Сонлив взгляд у Аляно.

— Завтра нужно рано выехать,— говорит охотник,— работы дома много, женщины не успевают шкурки обделывать, песец хорошо идет.

Пастухи неторопливо вылезают из полога и идут в другую ярангу, где еще не спят, где можно поговорить, посмеяться, посмотреть кинофильм.

Всю неделю в бригаде ложились спать поздно, далеко за полночь. Приехала кинопередвижка. Не умолкая, монотонно трещал у яранги движок, и оленеводы, затаив дыхание, забыв о чае, который давно остыл в кружках, не отрываясь, следили за экраном. Каждый вечер умудрялись просмотреть два, а то и три фильма. Киномеханик — русоволосый веселый русский парень — торопился: пока стоит хорошая погода, нужно успеть побывать во всех пяти соседних бригадах. Но в день отъезда, когда уже были показаны все имеющиеся в запасе фильмы, разразилась пурга. Она бушевала неделю, и всю эту неделю пастухи смотрели фильмы повторно, но теперь уже по заявкам. Любимый фильм выявлялся голосованием. После ужина киномеханик спрашивал:

— Что будем крутить?

Тут поднимался галдеж: одни просили показать «Алитета», другие — «Развод по-итальянски», третьи — «Александра Невского», а Аканто, как всегда, просил показать фильм о путешественнике Арсеньеве и его проводнике Дерсу Узала.

— Узалу давай! Узалу давай! — кричит бригадир.

Шум, крик, не понять, кому что нужно. Тогда киномеханик просит голосовать. За «Алитета» — двое, за «Развод

по-итальянски» — двое, за «Невского» — трое, за «Дерсу» — шесть человек: все пять женщин и Аканто.

— Это нечестно,— ворчит Аретагин.— Тотто сейчас в стаде, а он голосовал бы за «Невского»...

Уговор есть уговор. Киномеханик показывает — в который раз! — «Дерсу Узала».

Удивительна лунная, звездная, тихая, морозная чукотская ночь! Удивительна и прекрасна. Она дышит покоем и вечностью. Бесконечно будут сиять эти крупные, с голову, звезды, бесконечно будет светиться эта круглая, как бубен, луна. И живет во мне радостное, необычное ощущение: будто я — частица этого снега, этой земли, этого звездного неба, будто и я вечен, бессмертен, как эти седые сказочные тихие дали, как эти угрюмые таинственные горы, как это лунное, звездное небо, как это серебристое снежное свечение.

Самый длинный день

В. В. Леонтьеву

Ыпылё лежит на полу, на разостланной белой оленьей шкуре. Он огромен и кажется сильным. Только теперь не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой — он умирает. Он умирает уже целую неделю, и верхние люди все еще не решаются взять его. Почему они тянут? Может, боятся — ведь он был сильным, а может, дали время на воспоминания, на раскаяние? Или они просто мучают его: сделали беспомощным, отняли силу, но оставили ясный ум, здравый рассудок. Он теперь способен лишь думать, мечтать о тех делах, что мог бы сделать, но уже никогда не сделает.

Месяц назад Ыпылё решил пойти туда, где он родился и рос. Ему хотелось постоять на крутом берегу моря, с которого видна синь горизонта, хотелось увидеть землянки, покрытые дерном.

Беспомощность пришла неделю назад и разрушила все его замыслы. У него отняли Силу рук и Силу ног, но оставили Силу головы. Духи смерти, наверное, наказали Ыпылё за то, что он всю жизнь считал, будто Сила головы выше Силы рук и Силы ног, хотя отец учил его другому. Сейчас старик мог еще думать, мог вспоминать, но тело его стало неподвижным, как большой камень.

Ыпылё лежит тихо, смотрит в окно, за которым сереют, сгущаются сумерки. Он хорошо представляет все, что происходит там. Много

раз он пережил это время года и знает, какой стала сейчас тундра. Земля, схваченная первыми морозами, затвердела, и теперь ходить по ней легко. Сопки по утрам белесые, как куски мяса, когда на них застывает жир.

Старик тяжело вздохнул. Грудь его поднялась, внутри что-то кольнуло и стало так горячо, будто там развели костер. И вот так каждый раз,— стоит чуть разволноваться.

Дверь в комнату слегка отворилась, яркий луч света разрезал полумрак. Старик скосил глаза. В комнату осторожно вошел Вальтыгыргин. Ыппылё сразу узнал его. Старший сын высокий, у него крупное лицо с широкими скулами и отвислыми щеками. Ыппылё давно не видел его. Силой рук, Силой ног не обижен Вальтыгыргин, даже наделен с избытком, как будто силу эту предназначали не для человека, а для умкы — белого медведя, но голова его не может найти этой силе разумного применения. Нет, никогда Ыппылё не любил, не жалел, не ласкал старшего сына, и виной всему неумение Вальтыгыргина жить так, как хотелось тогда Ыппылё. Он мечтал сделать его своим наследником, человеком, который сумел бы умножить его богатства. Теперь иные времена, иная жизнь.

Вспомнилось все сейчас, перед самой смертью, и стало жалко сына. Он смотрел на Вальтыгыргина затуманенными глазами, и ему захотелось приласкать его, сказать что-нибудь теплое, нежное, такое, что говорят детям, уходя в дальнюю дорогу. А он уходил туда, откуда уж никогда не возвращаются. Ыппылё попытался повернуть голову, но она не слушалась. Язык у старика отнялся с приходом болезни, и он ничего не мог сказать сыну, только открывал рот и выдыхал сипло воздух. Это даже не походило на выдох, звук скорее напоминал шипение слабо надутого пыгпыга.

Вальтыгыргин, постояв несколько минут, тихо вышел из комнаты, так и не решившись подойти к строгому отцу:

он и раньше, и сейчас, даже беспомощного, боялся его. Дверь за собой Вальтыгыргин закрыл плотно. Комната погрузилась в полумрак.

Ыппылё снова стал смотреть в окно. Стекла потемнели еще сильней и были уже не светло-серыми, а темными, как будто закопченными: в это время года дни бывают короткими.

Долго Ыппылё думал о сыне, у которого прошлая жизнь была похожа на жизнь травы, без желания быть все богаче и богаче. Разве он, Ыппылё, смог бы, не обладая Силой головы и жаждой умножать свои стада, стать самым богатым человеком? Да и беды рано заставили познать жизнь.

Это было так давно, что трудно вспомнить. Отец умер, когда он только начал ходить с ним на охоту. Та зима — самая страшная в жизни. Давно это было, очень давно, но разве ее забудешь? Их осталось четверо: мать, два совсем маленьких брата и он. В самые сильные морозы и пурги кончилось добытое отцом моржовое мясо. Они умерли бы с голода, если бы не помогли люди из селения. Им приносили старые лахтачьи ремни, кости, куски копальхена. Мать размачивала ремни и варила, дробила кости и готовила суп. Но это случалось не часто: люди тоже голодали.

За долгую жизнь Ыппылё немало повидал трудных зим, но такого голода он больше не испытывал. И страх перед ним остался: когда приходил голод, даже смерть не казалась страшной.

«Охотник должен быть сильным, ловким, удачливым,— говорил отец,— тогда голод не зайдет в ярангу». Но уже после смерти отца Ыппылё убедился, одной ловкости и силы мало, нужно еще и хорошо думать.

Той весной Ыппылё не дождался, когда охотники селения выйдут на байдарах в море, взял винчестер отца, патроны и пошел искать моржей. Ему тогда казалось, что там, подальше от селения, за припаем, много моржей и нерп.

Стоит их только найти, и голод никогда больше не вернется. Старики говорили, что припай уходит далеко в море и до зверя не добраться, а он не поверил им. В этот день разразился шторм, льды оторвало от берега. Ыппылё долго носило на льдине в море. Когда он, обессилев от голода, уж не мог двигаться, льдину пригнало к берегу. Охотники нашли Ыппылё и привезли в селение.

Летом он долго болел и не мог охотиться со всеми на моржей, а зимой семья снова голодала. Неудача многому научила молодого охотника, и он решил, что никогда не примется за дело, не обдумав его как следует. От этого решения Ыппылё не отступал в течение всей своей жизни.

Да, отчетливо помнит все Ыппылё. Как будто вчера это было.

Осенью к селению часто подкочевывали большие чаучу. Они меняли оленье мясо, шкуры, жилы на нерпичий жир, лахтачьи, моржовые ремни, подошвы. Завидовали охотники оленным людям,— сытно, богато живут. Завидовал им и Ыппылё. Он считал, что удача всегда в их руках: ведь она не зависит от непогоды и моря. Ыппылё мечтал стать оленным человеком, как его отец, мечтал стать таким, как Рымтылин, который ест мяса столько, сколько захочет, и шьет себе теплые одежды. Позже, когда Ыппылё повзрослел, счастье улыбнулось и ему.

Далеко в тундре кочевал Нутевьи со своим небольшим стадом. Боялся Нутевьи подкочевывать к селениям анкалинов — береговых чукчей, которые часто голодали. Он жалел несчастных людей и никогда не отказал бы им в куске мяса, а мяса у него самого было мало. Стар был Нутевьи, собирался уйти в иной мир, детей не было, и он не знал, на кого оставить стадо.

Вспомнил старик о брате. Был брат тоже когда-то оленным чукчей, но счастье покинуло его, и он поселился у анкалинов, на берегу лагуны Кэйныпильгын. Вспомнил, что после его смерти осталась большая семья и старший

сын стал ее кормильцем. Слышал Нутевьи, что Ыппылё, сын брата, сильный, ловкий и удачливый охотник. Решил Нутевьи взять его к себе. В том, что сделал правильный выбор, убедился сразу же.

Когда Нутевьи был в селении, пастухи не заметили, как стадо большого чаучу Рымтылина слишком близко подошло к их стаду. Пять десятков оленей недосчитался Нутевьи — перебежали в стадо Рымтылина. Пришел старик вместе с Ыппылё к богатому чаучу, тот посмотрел на них и усмехнулся. Глазки у Рымтылина маленькие, блестящие, точно их в нерпичий жир окунули, лицо красное.

Разводит руками Рымтылин, говорит: мол, что ж не разрешить отбить хозяину оленей, ведь они принадлежат ему. Только вот стадо угнали пастухи: глупые люди, все путают. Куда угнали стадо, и сам Рымтылин не знает. Понял Нутевьи, что бесполезно упрашивать богача.

Во время разговора Ыппылё молчал, внимательно слушал, а перед уходом угрожающе посмотрел на Рымтылина и сказал дерзко: «Ев-ев! Придет время, и я припомню тебе это!» Рымтылин сжал губы, от злости все слова растерял, не смог ничего ответить. Нутевьи удивился дерзости Ыппылё: разве кто посмеет так говорить самому большому чаучу?

Когда они уходили в тундру и встретили стадо Рымтылина, Ыппылё напугал пастухов: сказал, что они самовольничают, что хозяин гневается на них и велел вернуть оленей да отбить за обиду еще десять важенок.

Вздохнул взволнованно Ыппылё, вспомнил, как после того случая Нутевьи пообещал ему, что, когда уйдет в другой мир, он, Ыппылё, станет хозяином стада. Да, это был самый счастливый день в его жизни. Как он радовался! Сейчас и то в сердце старого Ыппылё вспыхнула искра былой радости. От нее по всему телу разошлось тепло.

«Хорошее было время — молодость,— подумал старик.— Наверно, это была и весна в моей жизни».

Пять зим и пять весен прожил еще старый Нутевьи, а на шестую весну умер. Пошел посмотреть на стадо и не вернулся. Нашли его на проталине. Старик лежал, скорчившись, прижав к груди теленка. Важенка бегала вокруг проталинки с обезумевшими глазами.

Тогда Омрына, жена Нутевьи, стала женой Ыппылё. Она совсем состарилась. У нее выпали зубы, и тело было дряхлое, как сопревшая шкура, но глаза остались живыми и хитрыми. Она все видела, все знала и сказала Ыппылё: «Если ты не возьмешь меня в жены, то не будешь хозяином стада!» Ыппылё не ослушался: после смерти дяди племянник должен взять его жену.

Долго еще жила Омрына, не хотела умирать, родила Ыппылё сына — первого сына Вальтыгыргина.

Десять лет кочевал по тундре Ыппылё, пока не стал сильным хозяином. Большим стало его оленье стадо. Далеко разлетелась молва, что хитер и умен новый хозяин.

Вот тогда и отомстил Ыппылё Рымтылину. Умирал чаучу, уже не выходил из яранги, когда пастухи принесли весть: маточная часть его стада смешалась с нематочной частью стада Ыппылё, часть важенок угнал Ыппылё, а часть осталась, но от них не будет уж хорошего приплода.

Сейчас понимал старик, что был несправедлив к Рымтылину. Может, за это его и наказали верхние люди, продлив тягостное существование на этой земле?

Большим чаучу стал и Ыппылё. Имя его знали во всей тундре. Соседи боялись его стад: где они проходили, там долго не рос ягель, не оставалось мелких хозяев. Было у Ыппылё пять жен и пять стойбищ. Большую торговлю повел с американами, что приходили весной на огромных лодках от других, неизвестных берегов, затянутых морским туманом. Богатыми, жадными и хитрыми были те люди, много у них было ружей, пороху, чаю, сахару, много было воды, от которой кружилась голова, сердце напол-

нялось легкостью и человек терял рассудок. Научился Ыппылё понимать язык тех людей, чтобы торг с ними вести выгодно, стали к нему приезжать охотники издалека обменивать пушнину на патроны и другие нужные вещи.

Богател Ыппылё и людей верных одаривал, что пасли его стада и помогали вести торг. Недаром была у него Сила головы: знал — плохо работнику, хозяину убыток. Тогда он был молод, силен, в выносливости не уступал пастухам, когда окараулпвал с ними стадо, мог долгие дни лететь на оленьей упряжке к берегу моря, где встречался с торговцами.

Старик вздохнул, большой комок подступил к горлу, стало тяжело дышать, помутнело в глазах. «Что это я? — спохватился Ыппылё.— Как женщина, волнуюсь, или сердце совсем потеряло мужскую крепость?»

Потом вдруг все изменилось. Как неожиданно быстро все изменилось! Говорили ему, что появились в стойбищах необычные люди, совсем не торговые, ведут разговоры с бедняками чукчами о том, чтобы отнять у богатых оленей. Не верил этому Ыппылё, думал: зачем тем людям олени, им пушнина нужна. Говорят, за морем они продают ее очень дорого, выгоду большую имеют.

Потом новые дошли до него слухи, будто в самом большом стойбище Анадыре идет борьба, и победили будто те, что защищают бедняков.

Насторожился Ыппылё: такого не придумаешь. Лучшие стада велел угнать глубже в тундру, в сопки, не такто просто будет их там найти. Со стадами братьев послал: своя кровь вернее.

Стали приезжать и к нему представители новой власти. Товарищество в соседнем стойбище образовали. Как-то приехал к Ыппылё сам председатель — охотник Аренто. Уговаривал вступить в товарищество. Мол, бедняки всех оленей в одно стадо собрали, стали вместе охотиться, добычу поровну делить. Ыппылё спросил:

— Сколько каждый хозяин оленей дал?

— Еттыгыргин — пятьдесят оленей,— говорит Арепто,— Рахтувье — двадцать. Кто сколько смог. Всего в стаде у нас триста оленей.

Снова усмехнулся Ыппылё.

— Я дам тебе еще сто, и пусть растет ваше стадо. Когда оно станет таким же большим, как у меня, я вступлю в товарищество, но только буду главным, потому что моя доля всегда будет больше, чем других.

Ни с чем уехал Арепто. Пастухи и те не стали его слушать. Разве стадо в триста голов прокормит много людей? А пастухи у Ыппылё жили в достатке.

Еще несколько зим и весен паслись привольно стада Ыппылё, и он решил, что товарищество совсем не мешает ему, что все осталось по-старому. Он уже хотел посылать к братьям в сопки нарочных, чтобы весной гнали стада на лучшие отельные места в долину реки Агатколь.

Но вот в стойбище Ыппылё приехало много людей, и чукчей и русских. Начальник у них был в странной одежде. Когда он снял кухлянку, Ыппылё удивился. Раньше не видел такой одежды: впереди целый ряд блестящих пуговиц, на плечах алые полосы. Вначале начальник беседовал с пастухами, потом разговаривал с ним. Долго объяснял, уговаривал, а увидев, что все напрасно, потребовал, чтобы Ыппылё немедленно угнал своих оленей с земли товарищества, иначе его накажут. Ыппылё пытался возразить:

— Разве земля может принадлежать кому-нибудь из людей? Она принадлежит ягелю и траве, а ягель и трава принадлежат оленям. Пусть люди только выбирают, где лучше пасти стадо, места хватит всем. Зачем считать землю своей, ведь она не яранга, ее не перевезешь на нарте, а чаучу должен кочевать по всей тундре.

— Ты брось пустые разговоры! — сказал начальник, и лицо у него покраснело: видно, терпению конец при-

шел.— Скажи спасибо, что так долго тебя уговаривают. Будь моя воля, не так бы с тобой обошелся!

Откочевал Ыппылё дальше к сопкам, решил не ссориться. Тундра большая — пастбищ и впрямь всем хватит. Погнал он оленей на новые места, как прежде, по пути поглощая мелкие стада, хоть и знал, что это уже были олени не малых чаучу, за которых никто не мог заступиться, а тех, кто вступил в товарищество.

Как-то зимой в стойбище Ыппылё снова появилось начальство. Часть пастухов успела убежать. Ыппылё не побежал.

Долго везли его на нарте, и он не знал куда. Потом в деревянной большой яранге спрашивали его о стадах оленей, которые он незаконно захватил. Ыппылё не хотел говорить. С ним беседовали и знакомые чаучу. Они добровольно вступили в товарищество и рассказывали, что новая власть заботится о них, дает оружие и продукты, материал на нарты и шкуры на одежду, что вместе лучше работается и живется. Ыппылё и их не слушал. Своих оленей он никому не хотел отдавать.

Долго держали его в большом доме и уж хотели было отпустить, сам начальник потом об этом говорил, но Ыппылё не дождался — решил бежать. Ночью он тяжело ранил охранника и оказался на свободе. Ыппылё поймали, посадили на пароход, дымящий, как огромный костер в сырую погоду, и увезли...

Вспоминая, Ыппылё не заметил, как комната погрузилась в кромешную тьму. Темнота лежала вокруг, он ощущал ее, как что-то живое. Она давила сверху, и старику было тяжело от этого. Он таращил глаза, дышал в темноту, словно дыханием старался отодвинуть ее от тела. Вскоре Ыппылё стало казаться, что темнота не упирается в потолок, а уходит в небо. И он подумал: по этой темноте к нему спустятся верхние люди, чтобы забрать его к себе.

Ыппылё стало легко: наконец-то он отмучается. Его не

станет больше давить темнота, мучить жажда, не будут терзать сердце тяжкие мысли. С минуту он лежал радостный, захваченный ожиданием ухода в другой мир. И вдруг спохватился и ужаснулся. Как же так? Сейчас он уйдет из этой жизни, так и не поняв до конца ее смысла. В голове его все закружилось, закачалась темнота, как трава от порыва ветра.

«Это верхние люди»,— подумал Ыппылё и стал мысленно просить их подождать хоть один день, чтобы он мог все хорошенько обдумать. Вдруг там, в ином мире, его будет расспрашивать отец, Нутевьи, мать или Омрына о жизни на земле. Что он им ответит? Ведь он сам ничего не понял...

В соседней комнате накурено и многолюдно. Комната небольшая, и людям тесно в ней. Они сидят на полу у двери, у окна, у печки, черной, обитой железом. Люди разговаривают, смеются, курят, пьют чай и вино. В углу, у умывальника, гудят два примуса. Они как будто хотят приподнять чайники, но не могут и гудят от натуги.

За столом сидят сыновья и брат Ыппылё, потчуют гостей, угощают настойчиво, как на поминках.

Ыппылё медленно, осторожно открыл глаза. Над ним висела темнота — густая, неподвижная, словно вода в глубоком озере с илистым дном. Он стал водить глазами, пытаясь различить что-нибудь, и неожиданно увидел большое квадратное бледное пятно. «Это же окно,— догадался старик,— оно посветлело, значит, пришел рассвет».

Теперь Ыппылё этому даже не обрадовался. Он не обрадовался тому, что еще жив и снова может думать, вспоминать. Значит, верхние люди опять отказались от него, обрекли на новый мучительный день. Старик разволновался и даже забыл о том, что совсем недавно просил у них время на размышление.

Опять стало тягостно на душе у Ыппылё. Во рту пересохло, язык не гнулся, будто его подсушили на костре.

Ыппылё мучительно захотелось пить. Ему казалось, что он очень давно не пил. Наверно, о нем забыли. Комок обиды застрял в горле. Старик не помнил, что недавно к нему подходила молодая женщина и поила его сладким чаем. Старик все смотрел и смотрел в окно. Оно светлело медленно, но заметно, словно его кто-то, не торопясь, мыл с улицы.

...Назад Ыппылё привезли на пароходе. Пароход плыл медленно и долго. Ночью и днем старик лежал на верхней палубе и смотрел вперед. Очень сильно хотелось увидеть родной берег. Было сыро и холодно. Старик простыл. В поселок его привезли больным.

Ыппылё поселился в доме брата. Омрыятгыргин с семьей был в тундре. Семь дней Ыппылё не мог подняться и выйти на улицу. Он тосковал по той земле, которую так хотел видеть, которая ему снилась, без которой жизнь была не в радость.

Приходили гости, но он почти никого не знал. Все смотрели на него, не скрывая любопытства, будто он был не человек, а какое-то странное, невиданное существо.

Потом пришли два старика, и он сразу узнал их. Анкавье и Нуваттагин первыми согласились стать его помощниками после смерти Нутевьи. Потом они были старшими в его стадах. Ыппылё хорошо помнил их, они были настоящими пастухами.

Старики допоздна пили чай, неторопливо вели беседу. Они рассказали, что сыновья Ыппылё живут в соседнем поселке, работают пастухами-бригадирами, что средний сын, Айнавье, стал большим начальником, женился на русской. Старики были внимательны к Ыппылё, все время подливали в его кружку чай и вели себя так, как будто все они еще молодые, как будто их не разделяли годы и большие перемены.

Потом приезжал брат Омрыятгыргин. Он тоже постарел и был сед. Десять дней пробыл Омрыятгыргин в поселке.

Редко появлялся дома, занят был какими-то делами: то уходил на собрание, то еще куда-то. Потом Омрыятгыргин вдруг заспешил в тундру, в стадо. Перед отъездом на прощание сказал:

— Живи пока в моем доме, а если в колхоз вступишь, останешься в нем навсегда.

И уехал.

Миновало еще несколько дней. Только тогда пришла к нему Тагрыт. Она была в новом керкере, расшитом бисером на груди и рукавах. Тагрыт еще статная, красивая, время не сгорбило и не высушило ее. Лицо ее слегка подернулось морщинами, но Ыппылё не видел этих морщин,— его глаза потеряли зоркость.

Женщина долго стояла у порога. Он узнал ее по косам. Они были такие же длинные и толстые, как много лет назад.

— Етти, Тагрыт! Это ты? — спросил он.

— Ий... гымо... Да... я,— ответила женщина.

Тагрыт была последней, самой молодой женой. Он подарил много оленей ее отцу за то, чтобы она стала его женой.

Ыппылё часто вспоминал Тагрыт. Он быстро старел, а золотая осень его жизни была связана с этой женщиной.

— Ты думала обо мне? — спросил он у Тагрыт.

— Да! — ответила она и повернулась лицом к Ыппылё. Он заглянул в ее глаза. Они были прежними, как много лет назад, только не блестели и не светились огнями, от которых когда-то тело его наполнялось молодой, упругой силой.

Он вдруг вспомнил тот зимний день, когда увозил Тагрыт из яранги в свое стойбище. Она плакала, лицо ее было залито слезами. И сейчас он спросил:

— Почему ты плакала, когда я увозил тебя от отца?

Она молчала, а про себя подумала: «Столько лет прошло, а он помнит».

— Может, ты хотела другого мужа? — допытывался Ыппылё.

— Нет, я боялась тебя.

— Боялась? — переспросил старик.— Почему же пришла сегодня?

Тагрыт опустилась на шкуру, отвернулась от него и спокойно ответила:

— Ты был первым мужчиной у меня. И еще сказать, что больше не боюсь.

Потом Тагрыт стала рассказывать о своей жизни, о том, что была еще раз замужем, но муж умер от какой-то болезни, и она снова одна: детей у них почему-то не было. И еще в ту ночь Тагрыт плакала и упрекала Ыппылё, что в молодости он распоряжался ею, как вещью, заставлял спать с торговцами, и люди в других стойбищах ненавидели его за это. Он не понимал ее обиды и пытался объяснить, что поступал так потому, что это нужно было, чтобы не терять дружбы с торговцами. Она говорила, что теперь нет таких обычаев, что новая власть считает женщин такими же людьми, как и мужчин. Уходя, Тагрыт сказала, что снова станет его женой, если он вступит в колхоз и будет уважать новый закон.

Стояла ранняя осень. Снег еще не выпал, но по утрам воздух уже наполняется легкой стынью, как будто его держат всю ночь в огромных ящиках со льдом. Легко дышать таким воздухом: он сам вливается в грудь, в нем нежный аромат подмороженных тундровых ягод.

Давно, очень давно, когда Ыппылё даже не думал, что будет таким старым, как сейчас, мать говорила: если в тело человека закралась болезнь, он должен уползти в тундру и долго дышать воздухом ранней осени. Недугу понравится пахучий воздух, и он вылезет из человека, чтобы посмотреть на тундру.

Ыппылё пошел в тундру, когда ноги стали чуть-чуть держать его. Он прошел через весь поселок, ничего не

видя, ничего не замечая, думая об одном, что нужно не упасть, подняться на небольшой перевал, за которым открывалась захватывающая даль, где злые духи, соблазнившись свежим воздухом, выйдут из него, и он выздоровеет.

На вершине перевала старик упал в изнеможении. Он прильнул лицом к холодным веточкам черных ягод шикши и дышал, дышал всей грудью, готовой вот-вот разорваться. Он долго лежал так, а когда приподнялся, голова его слегка еще кружилась от усталости.

Впереди лежала тундра, желтая, как переспелая морошка. Влажная синь утра висела над ней. Далеко внизу была река, извилистая, разветвленная, вроде тундрового куста, что растет на склонах сопок. Многочисленные озера на берегах реки кажутся отсюда листьями огромного куста. Он смотрел на тундру, и впервые за много-много лет чуть не заплакал.

В тундре Ыппылё пробыл весь день и всю ночь. Рано утром к нему пришли силы, и он вернулся домой.

Неспокойные то были дни. Ыппылё ходил по поселку, рассматривал все, удивлялся. Раньше безлюден был берег реки. Стояли у самого обрыва две маленькие землянки, вот и все. Жили здесь анкалины. Зимой охотились, летом рыбачили. Теперь столько домов стало, столько людей!

Потом Ыппылё затосковал. Почувствовал, что опять заболел.

Собрал все необходимое в дорогу и ушел в тундру. Много дней и ночей шел он, сам не зная куда. Шел, смотрел по сторонам, радовался, а когда спохватился, то увидел, что пришел к сопкам Чинверней, туда, где в последний раз паслось его стадо, где дымились костры, стояли яранги его стойбища. Ходил по знакомым местам, смотрел, вспоминал прошлое.

Позже он решил пойти в долину реки Агатколь. Многие годы гонял важенок в эти края Ыппылё, и приплод был хороший: там лучшие отельные пастбища. Нигде в тундре

нет такого места, где было бы больше ягеля, чем в долине Агматколь, нигде ягель не был сытнее. Первые проталины появлялись тоже там. Сопки защищают долину от шквальных ветров, уносящих весной телят, да и волков здесь немного.

Пастухи Ыппылё и он сам считали это место священным: здесь, по их убеждению, жили духи добра, духи оленьего счастья. Шел он не спеша. Когда сильно уставал, то останавливался на чаевку, когда хотелось спать, ставил крохотную палатку. На душе у него было спокойно и безмятежно. Тундра, казалось, вошла в его душу вместе с синим осенним воздухом, рыжими сопками, сухой травой, хрустящей под ногами, речками, озерами, светлыми, как оленьи глаза.

Сердце Ыппылё сильно стучало, когда он стал подниматься на последний перевал, за которым лежала долина его счастья. Он вдруг заспешил, заторопился, оступился и у самой вершины перевала упал обессиленный. Потом с трудом поднялся и снова быстро пошел к вершине, а когда достиг ее, остановился, тяжело дыша. С минуту ничего не видел, все перед глазами кружилось и было затянуто какой-то влажной пеленой. Потом он увидел недалеко внизу, на берегу реки Агтатколь, большой поселок с белыми красивыми домами. Откуда они здесь взялись — этого он не мог понять. Это было как видение, как сон.

Ыппылё взвалил ношу на плечи и пошел в поселок. Ходил по его улицам, усыпанным, как берег, галькой, заходил в магазины, в столовую, в дома. Был молчалив и хмур, занят своими мыслями. Потом направился к перевалу и, не оглядываясь, поднялся на его вершину.

Домой возвратился усталый. Несколько дней пролежал в доме Омрыятгыргина, и, когда немного полегчало, потянуло его на родину, в стойбище на берегу лагуны Кэйныпильгын. Тогда еще у Ыппылё теплилась надежда, что там все осталось по-прежнему. Там нет высоких домов, нет ды-

ма, черпящего небо, нет грызущих землю тракторов. Там море и ласковый берег тундры.

Месяц назад он стал не торопясь собираться в дорогу. Путь был длинным. Потом он получил письмо от сыновей. Они хотели навестить его. Это не задержало бы Ыппылё. Он забыл сыновей, и встреча его не радовала. Ночами Ыппылё не спал, все думал. Ему хотелось понять, что происходит вокруг. Теперь он не мог даже подняться. Верхние люди жестоко наказали его, отняв Силу рук и Силу ног.

Ыппылё вдруг ощутил, как опять закружилась голова. Стены дома пошатнулись, как будто ожили. Ыппылё почувствовал, что по ногам к голове поднимается страшный холод. Ыппылё слышал свое дыхание. Оно было хриплым, с большими паузами. «Что же это такое?» — подумал старик,— пришла зима и мне от этого холодно? Или я умираю? Да... Да, я умираю». Снова, как несколько часов назад, ему стало легко, как обессилевшему путнику, который падает после напряженной и долгой борьбы за жизнь и примиряется с мыслью о неизбежной смерти.

Ыппылё скосил глаза, решив последний раз посмотреть на дверь, за которой находятся люди. Неожиданно недалеко от себя он увидел женщину в белом халате. Он никогда не видел ее раньше. Женщина шевелила губами, значит, говорила что-то. Но Ыппылё уже ничего не слышал. Он только смотрел на женщину широко открытыми глазами. И вдруг старик почувствовал, что вот сейчас он умрет, умрет, как лишний, больной олень, который бывает обузой для стада. Ему уже не было страшно, но он вдруг пожалел, что никогда не сможет начать новую жизнь, ту жизнь, которой живет Тагрыт, его сыновья и братья.

Взошло солнце, и комнату залил яркий свет. Но для старого Ыппылё самый длинный день, день, когда он мысленно пережил всю свою жизнь, подходил к концу. И теперь, умирая, горько было ему сознавать, что новое счастливое для людей время давно началось без него.

Лебединое перо

В поселок, что на мысе Шмидта, Валька приехала в начале июля. Она даже удивилась, когда вышла из машины и увидела большой, настоящий поселок. А ведь ехала, думала, что здесь домика три-четыре, вот тебе и все. Правда, дома в поселке не каменные, а деревянные, похожи один на другой, как дети в яслях, и улица здесь всего одна. Зато она длинная и тянется вдоль берега моря. Магазин, клуб, контора есть, а что еще нужно?

На «материке» Валька работала на молочной ферме. Здесь, в Рыркайпии, ей предложили должность завхоза. Она вначале испугалась, потому что не была знакома с этим делом. Но председатель колхоза успокоил ее. Мол, внешность ваша вполне подходит: у Вальки огромный рост, она выглядит строгой. Но глаза у нее большие, черные, совсем не строгие. С первых же дней в поселке Вальку стали звать Крупнокалиберкой. Конечно, в глаза ее так не называют, потому что побаиваются. Поселковые парни и те не пристают к ней, хоть и мало в Рыркайпии девчат.

Как-то пьяный тракторист Алексей Сытин, кудрявый, высокий, любимец девчат, обнял Вальку и стал уговаривать:

— Выходи замуж за меня, жалеть не будешь. Парень я что надо... Денег кучу зарабатываю! — А сам рукой под юбку...

Валька трахнула его кулачищем по лицу.

— Ты,— говорит,— слюнтяй, с первого раза лапаешь. Да не на ту напал... Я тебя научу женскую политику понимать.

Целую неделю парень с синяком ходил. Весь поселок над ним смеялся.

Поселили Вальку в двухкомнатном домике, что приютился у самого берега моря. Домик маленький, хлипкий, от крыши до цоколя обит толем и издали чернеет, словно вымазанный дегтем. Труба высокая и тоже черная от копоти.

Когда Валька пришла в дом, в комнатах было почти пусто. Прежние жильцы оставили полуторную кровать с порванной сеткой. Валька тяжелая, ворочается во сне, и сетка качается и скрипит, как зыбка. В комнате осталась еще облезлая этажерка, стол и три табуретки с плохо отесанными ножками.

Весь коридор и крохотная кладовочка завалены дровами и углем. Жильцы собирались на «материк», но на всякий случай запаслись топливом.

Два дня Валька не выходила на работу — оборудовала жилье. Покрыла кровать толстым одеялом, и она стала похожей на тахту. С колхозного склада принесла скатерть, картину Шишкина «Утро в сосновом лесу» (все равно без дела валялась!), списанный диван. Правда, диван порван, и там, где обычно сидят, торчит пакля и пружины. Диван поэтому похож на лошадь с распоротым брюхом. Но Валька набросила цветастую материю. Получилось даже красиво.

По вечерам Валька обычно смотрела в окно, где море, поблескивая ртутной тяжестью, уходило к горизонту и белые льдины то приближались к берегу, то отдалялись от него. И так каждый день — работа, а вечером — море из окна и тоска.

Месяц томилась Валька в одиночестве, потом не выдержала, пришла к председателю колхоза и говорит:

— Подселите кого-нибудь, не могу одна жить. Убегу со скуки... Вам женскую политику понимать нужно.

Вздернулись седые брови у председателя. Такого еще не было. Обычно вновь прибывшие стремятся жить в одиночку да занять побольше жилплощадь, а эта...

Покачал председатель головой и отвечает:

— Вот чего надумала! Убегу! Я те убегу... У меня люди дороже золота, а она «убегу». Всех парней отпугнула от себя. Где ж я тебе девчат возьму? — И уже более миролюбиво добавил: — Потерпи месячишко. Вызвали специалистов. Подъехать должны.

Вот Валька и терпела пока.

Ровно через месяц в поселок прислали библиотекаршу Таню, стройную, женственную, бледную девушку. Таня почти красавица. Она носит плотно облегающие платья. Наверное, знает, что у нее красивая фигура, и потому носит такие платья.

Когда в квартиру принесли вещи библиотекарши, Валька ахнула. Посреди комнаты стояло три здоровенных чемодана и в придачу еще один маленький.

«Ну,— подумала Валька,— видать, эта девка еще тот куркуль. Багажа на десять человек приволокла».

А когда Таня стала разбирать вещи, еще больше удивилась. Все три больших чемодана были набиты книгами и только в маленьком лежали вещи.

— Тебя что же это,— не выдержала Валька,— мешком пристукнули? Одни книжки-то зачем притащила, аль здесь их мало? У меня в колхозе и то полсклада лежит.

— Знаете,— спокойно ответила Таня,— мама мне тоже, как вы, говорила. Зачем тебе книги в такую даль везти? А я подумала: вдруг не будет таких книг в библиотеке, попросят почитать, что я отвечу? Да и читателю как же без хороших книг быть? Нет, думаю, лучше возьму. Я ведь взяла самые любимые: Экзюпери, Бабеля, Блока, Роллана.

— Ох хватанешь ты горя с этими Ролланами! — перебила в сердцах Валька.

Целыми днями Таня сидела в библиотеке, читала и радовалась, когда редкий посетитель заходил в ее «холодную обитель». Тогда она сбивчиво начинала предлагать книги, расхваливая их, пытаясь заинтересовать читателя.

Иной посетитель не дает ей и закончить монолог:

— Да не по книгу я... Навигация... не до читок... Газету дай, завернуть кое-что нужно.

Удивлялась Таня. Как же так, в посёлке почти никто книг не читает? Даже плакала от обиды, думала, что из-за нее никто не ходит в библиотеку. Видно, не может она завлечь читателей. При старой библиотекарше целая картотека на читателей была. Потом Валька растолковала ей:

— Народ пароходы разгружает, тут не до книг, сутками люди работают. Зимой отбоя не будет. Подожди, потом наплачешься, когда книги пропадать начнут.

— Знаете,— обрадованно ответила Таня,— когда я на практике была, у меня тоже книжки иногда пропадали. Я даже отмечала, какой не стало. Но если книгу кто-то не вернул, значит, без нее он, как без хлеба, как без воздуха, прожить не может.

— Ну, давай, давай,— ворчала Валька,— когда из получки высчитывать начнут, посмотрим, как ты запоешь.

Таня успокоилась, стала читать запоем, потому что пока нечего было ждать посетителей. Она и вечерами после работы читала. Примостится у края стола и вздыхает над книгой, и улыбается.

Таня даже в окно, как Валька, не смотрит и не восклицает:

— Море-то... море! С ума сойти можно! Тоска одна...

Она и о работе своей ничего не рассказывала, была тихой, неразговорчивой.

— Вот мумия-то! — возмущалась Валька.— Ты хоть «бэ» скажи, а я «вэ», и то веселее на душе будет.

Таня поднимала на Вальку удивленные робкие глаза:

— Что вы, Валентина Петровна? — задумчиво говорила она.— Зачем же время попусту на разговоры тратить? Вот в книгах пишут...

— Опять за свое...— закатывая глаза, вскидывая руки, возмущалась Валька.— Что мне твои книги? Я тоже, помоложе была, читала. Да они не больно мне в голову лезли. Про любовь все читала. А где она, любовь-то? Нет ее вовсе, не бывает.

Таня не спорила с Валентиной. Она уважала ее, как старшую, и немного побаивалась за столь резкие суждения.

Вскоре в дом к девушкам подселили еще и третью — Милу. Она окончила Анадырское педучилище и приехала, чтобы вести уроки в начальной школе.

Мила прибыла в Рыркайпий в конце октября, когда застыло море и землю покрыл снег, сухой и сыпучий от морозов.

Свою задержку она объяснила просто:

— Вволю нагуляться хотелось... О городской жизни теперь только мечтать будешь.

Своей живостью и непостоянством Мила удивляла всех. Сядет проверять тетради, через полчаса уже читает книгу, потом, не прочитав и нескольких страниц, начинает крутить Валькину «Спидолу». Через несколько минут, спохватившись, берется снова за тетради. Но не может она просидеть за этим делом и двадцати минут. Вдруг в порыве чистоплотности начнет наводить порядок в комнатах. Вымоет наполовину пол и уже хватается за посуду. Разбросает по столу тарелки, но скучно ей станет, опять начнет ловить на «Спидоле» джазовую музыку. И так без конца.

Родители Милы живут в Анадыре. Отец — «северный» цыган. По национальности он действительно цыган, а «северным» его сделала судьба. Еще молодым он завербовался на Чукотку. Жил в стойбище, работал пастухом. Кочевая

суровая жизнь чукчей чем-то сходна с бродячей жизнью цыган. Там, в тундре, женился на молодой чукчанке, медлительной, черноокой Имнетваль. Восемь лет прожил он в стойбище. И вдруг потянуло его на «материк». Он бросил жену, детей и улетел на юг. А через год затосковал о Севере. Вернулся. Устроился работать в Анадыре, привез семью.

Мила сразу привязалась к Вальке. Она уважала ее за рассудительность, самостоятельность. Правда, по имени-отчеству не называла, как Таня, но слушалась Вальку, хотя выполняла все, что та говорила ей, только наполовину.

Время летело. За осенью шла зима с морозами, пургами и тоской о тепле. Сначала выпал снег, ровный, нежный, потом колючий и беспокойный, а уже потом ударили морозы, стеклянные и лютые. В трубах, в выбеленных инеем проводах захохотал, надрываясь, промороженный чукотский ветер.

Длинными вечерами девчонки сидели дома, читали книжки, вспоминали веселое студенческое время.

Однажды Миле взбрела в голову ошеломляющая идея: создать вокальное трио — Валька, Таня и она. За день до появления этой идеи с Милой беседовал секретарь сельсовета Летыкай и «прорабатывал» девчат за неактивность.

— Несолидно это! — буркнула Валька.

Но Таня вдруг загорелась. Стала горячо убеждать Вальку, доказывать, что она читала, как благоприятно самодеятельное искусство влияет на формирование мировоззрения. Она даже принесла ворох журналов с репертуаром для художественной самодеятельности. А Мила сочинила частушки на злободневные местные темы. Осталось спеться и собрать жителей поселка на концерт.

Валька в конце концов согласилась.

Целый месяц готовились к концерту. Вечерами пели песни и разучивали частушки, доведенные общими усилия-

ми до нужной «кондиции». Мила подыгрывала на баяне, у которого почему-то западала почти половина клавишей.

В праздник, День Советской Армии, решили выступить со своей программой и доказать секретарю сельсовета, что они вовсе не пассивные.

После доклада Летыкая все собрались было смотреть кино, как вдруг на сцену выпрыгнула Мила и сказала:

— Сейчас наше трио даст небольшой концерт. Мы споем частушки и песни. Я думаю, что потом появится много желающих участвовать в самодеятельности.

В зале сразу наступила тишина. Зрители вначале не поверили, что у них в поселке будет концерт. Никто в зале не мог точно вспомнить, когда в последний раз видел на сцене этого крохотного клуба живых, пусть и самодеятельных, но все же артистов.

После того как открылся пыльный занавес, на сцену вышла Таня. Низким грудным голосом она прочитала стихи Есенина, потом Евтушенко, потом чукотской поэтессы Кымытваль. Во время декламации очки у Тани съезжали на кончик носа, и она, забывшись, то и дело поправляла их. Но зрители как будто и не замечали этого неартистического жеста.

После Тани выступила Мила. Она сыграла половину полонеза Огинского и без объявления начала играть марш Бетховена, потом плясовую.

Валька прочитала басню о расчетливости и скупости бобра, посматривая недвусмысленно на присутствовавшего начальника торгово-заготовительного пункта Баранкина.

Потом все трое пели сначала «Ой, рябина кудрявая», потом «Третий должен уйти» и еще что-то смешное.

В зале аплодировали, просили повторить, а когда девчата спели частушки на местные темы, все кричали «бис».

Тогда на сцену вышел Летыкай.

— Товарищи! Они были пассивом,— кивнув в сторону кулис, начал он.— А теперь подготовили концерт. Я думаю,

наша троица и впредь будет активной.— Летыкай вскинул руку, потом резко махнул ею, словно бросил в зал чаат.

На следующий день в поселке только и говорили о концерте и о девчатах, которых теперь называли не иначе как «троицей».

После этого выступления девчонки стали жить шумно. Водоворот общественной работы — самодеятельных концертов — захлестнул их.

Весна пришла неожиданно. Заслезились снега от солнца, ставшего жарким, приветливым. Небо погрустнело от туч над морем. С юга дохнуло влажным ветром. На море задвигались, засуетились льдины. Макушки сопок почернели — они сняли свои белые зимние шапки. А девушки почему-то загрустили. Больше стали вечерами вспоминать прошлое, рассказывать о ребятах, которых, казалось, любили и вдруг оставили, уехали, не объяснившись с ними.

Особенно Милу и Таню стала удивлять Валька. Вечерами она подолгу сидела у окна и вздыхала. Даже на разговоры ее не тянуло. Иногда Валька уходила на кухню, садилась за стол и что-то допоздна писала. Девчонок она просила не беспокоить ее. Мила и Таня терялись в догадках. Мила говорила, что Валька влюбилась или пишет жалобу на весь Север.

Через полмесяца Валька открыла свою тайну. Пришла она с работы, села на койку (раньше с ней этого никогда не бывало) и говорит:

— Не могу я больше так. Я ведь замужняя. Соскучилась. Раньше хорохорилась. Я же убежала от него. Говорю: «Поехали, Север посмотрим... чего бояться?» А он заробел. Тогда я говорю: «Не понимаешь ты, Вася, женскую психологию. Коль уж мне захотелось, все равно уеду». И уехала. Он у меня с образованием, институт кончил. Теперь вот письма каждый день пишу. Может, приедет все-таки...

Вслед за Валькой затосковала и Таня. Читает, читает книгу, потом уставится в одну точку и долго сидит, не ше-

лохнувшись, глазом не моргнет, и лицо у нее светится, словно изнутри освещают его лампой.

Как-то вечером Таня долго не возвращалась с работы. Девчонки забеспокоились. Побежали в библиотеку. Она оказалась закрытой. Тогда Валька с Милой стали бегать по знакомым, искать Таню. Устали. Но подружку не нашли.

Таня вернулась домой далеко за полночь. Подруги накинулись на нее с упреками. Таня разревелась. Потом рассказала, что была на сопке Шмидта с Колькой Егоровым — молодым колхозным зоотехником, что на склоне сопки уже лето, земля сухая и зеленая трава. Они рвали траву, мяли ее в ладонях и нюхали. А потом Колька ее поцеловал.

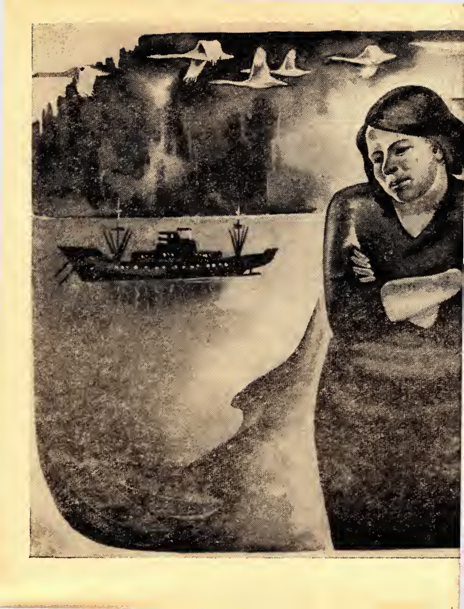
Навигация в этом году открылась рано. В конце июня сильный южак угнал в открытое море льды. Растаял снег. Только на самых высоких вершинах сопок, цепляющихся за тяжелые облака, он белел подобно седине.

Открытие навигации — большой праздник для каждого чукотского села. Готовятся к нему с ранней весны. Терпеливо ждут, как любимую на свидание. Светлыми короткими ночами выходят жители на берег моря, смотрят на далекий застывший горизонт и ждут, не появится ли там дымок парохода.

В конце июля на рейде стал первый пароход. Потом началась разгрузка. Круглые сутки самоходные баржи перевозили с огромного парохода на берег тюки, ящики, мешки.

Через неделю свинцовый туман моря поглотил пароход и сомкнулся над ним, как волны над камнем, брошенным в воду.

В поселке начались праздничные дни. До прихода следующего парохода оставалась целая неделя. В магазине после длительного «сухого закона» продавали спирт, ликеры, вина нового завоза, яблоки, свежий лук, мужские костюмы и нарядные женские платья.





День прибытия второго парохода — «Шатуры» стал поворотным в судьбе Милы. На «Шатуре» плавал молодой штурман. У него были модные маленькие усики, а глаза огромные, блестящие. Все в них отражалось — и ласка, и удивление, и молодой задор. Форма на нем сидит ловко, как на картинке. Голос у штурмана нежный, говорит красиво, каждое слово звездочкой в душу девичью залетает.

Дней десять стояла на якоре «Шатура», и все десять дней после напряженной вахты молодой штурман шел в школу к Миле, допоздна рассказывал ей о морях, далеких странах и городах.

Домой Мила приходила взволнованной. Лицо ее было всегда румяным. Она вихрем кружилась по комнате и повторяла:

— Ой, девочки! Ой, девочки!

Валька хмурилась и строго говорила:

— Смотри, закрутит тебе голову этот хлыщ. Все они, с усиками, об этом только и думают, как девчонку обмануть. Блюди женскую политику.

Таня отрывалась от книги, поправляла рукой очки и шептала, чтоб не услышала Мила:

— Что вы, Валентина Петровна, может, это любовь? Вот в книжках пишут...— глаза у Тани загорались, и лицо начинало светиться.

— Что мне твои книжки,— перебивала ее Валя,— с усиками — они и в книжках обманывают простофиль.

Как-то Мила пришла домой позже обычного. С порога она подбежала к Вальке, обхватила ее за шею и сбивчиво зашептала:

— Валечка, миленькая... Мы женимся... у нас все... все... нынче было...

— Как все?! — испуганно переспросила Валька.

— Да что ты, мы ведь без пяти минут муж и жена. Он меня вызовет к себе во Владивосток. Мы там и поженимся.

— Поженитесь... без пяти минут...— ледяным голосом промычала Валька. Глаза ее округлились. С минуту она сидела неподвижно, словно обдумывая услышанное, и вдруг резко вскочила с места, оттолкнула Милу, схватила платок и выбежала из комнаты, крикнув на ходу:

— Знаю я, как женятся без пяти минут... Я ему покажу, хлыщу усатому...

— Валя, подожди! — взмолилась Мила и кинулась к ней, пытаясь задержать.

Но дверь захлопнулась, щелкнул замок, Мила прижалась к косяку и беспомощно заплакала.

Вальке казалось, что она слишком долго бежит к причалу. Ноги глубоко погружались во влажный береговой песок. Валька задыхалась. Во рту пересохло. Язык стал тяжелым, сухим. Валька хватала всей грудью воздух, и внутри от этого покалывало.

«Ах, Милка... Ах, Милка... что же ты натворила?» — стонало в Валькиной душе.

У причала она увидела сторожа Герасимыча, медлительного, сонливого, опухшего от чрезмерного употребления алкоголя.

— Герасимыч! — крикнула Валька.— Когда баржа пойдет к пароходу?

Сторож медленно повернулся, подождал, пока отдышится подбежавшая Валька, потом спросил:

— Зачем те?

— Нужно... на пароход нужно...

— Зачем те на пароход? — Герасимыч равнодушно посмотрел на Вальку. Вдруг тяжелое лицо его вытянулось, и он заморгал быстро-быстро, словно в глаза попали соринки.— Зачем те, к ребятам? — Сторож улыбнулся, обнажив черные, гнилые зубы.— Хе-хе... От дела́, посходили с ума девки!

— Какие ребята? — насупилась Валька.— Дело есть важное.

— Те к капитану?

— И к капитану, и к штурману! Ты скажи, будет баржа или нет! — голос у Вальки густел. Она шагнула ближе к сторожу. Тот попятился назад.

— Те к какому штурману, с усиками? — снова спросил он.

— Да что ты привязался ко мне, пьяный алкоголик! — крикнула Валька.— Я его о барже, а он...

— О барже! — передразнил Герасимыч.— А я видел с усиками-то. Те ничего не передавал. А подружке твоей привет! — Старик сощурил мутные глаза и противно заухмылялся.

— Как?! — удивленно переспросила Валька.— Как это привет?! — Она шагнула ближе к Герасимычу и схватила его за грудь.— Не пойму я, как это...

— Ты чего? — отстраняясь, забормотал сторож.— Зачем те? Привет-то подружке!

Валька оттолкнула Герасимыча в сторону и, сделав несколько шагов к морю, спросила:

— Баржа когда будет? Поговорить со штурманом надо...

— Не дай бог связываться с тобой! Разорвешь ведь! — пробурчал сторож.— Баржи больше не будет. Уходит «Шатура», не видишь, что ли?

Валька глянула на пароход, который стоял далеко от берега на рейде, и только теперь заметила, что «Шатура» развернулась и сильней задымилась ее труба.

Валька плюнула, выпрямилась и медленно пошла к берегу в сторону дома.

— Огонь баба! — восхищенно проговорил вслед Герасимыч.

Всю ночь девушки не сомкнули глаз, просидели, прижавшись друг к другу. За окном шел дождь, и капли его бились о стекла ослабевшей дробью. Слышны были удары волн о прибрежные камни. В море начинался шторм.

Сентябрь на Чукотке не очень-то веселый. В сентябре тундра становится коричневой, словно она ржавеет от нескончаемых дождей. В сентябре на юг улетают журавли, гуси и лебеди. Слышно, как они, пролетая, курлычут, гогочут, клекочут. Упадет посреди улицы лебединое перо, большущее, белое. Поднимет его счастливчик, принесет домой, приколет на самом видном месте. Говорят, лебеди приносят с юга тепло и любовь.

Жизнь девушек, казалось, вошла в прежнее русло. Они ходили на работу, в клуб, в кино.

В конце сентября пришла Миле телеграмма из Владивостока и вслед объемистое письмо. Штурман с модными усиками вызвал ее к себе.

Вдвоем сразу стало скучнее. Таня по-прежнему днем и ночью читала книжки, а Валька сидела у окна и смотрела на море, тяжело вздыхая.

Перед Новым годом Таня пришла с работы раньше обычного. Валька удивилась:

— Ты что, библиотеку и не открывала?

— Совсем нет! — потупилась Таня. Потом призналась, что Колька, молодой зоотехник, вернулся из тундры и сделал ей предложение. Через три дня они уедут в отпуск на «материк» и там поженятся.

— Прямо так вот и... сразу на «материк»? — растерянно переспросила Валька.— А как же в загс, свадьба?

— Что вы, Валентина Петровна! Я ему верю. Мы же любим друг друга...

— Значит, тоже без пяти минут муж и жена...

— Да.

Валька медленно подошла к окну. Оно было белым от намерзшего льда, и моря не было видно. Да сейчас и море, как окно, покрыто толстым слоем льда и волны не шепчутся, не целуются с прибрежным песком, как в светлые летние ночи.

— Теперь опять я одна останусь,— не поворачиваясь,

сказала Валька. Голос ее дрогнул и надломился.— Такая женская политика!

— Валентина Петровна, к вам же муж обязательно приедет!

Валя медленно опустила голову. Лицо ее слегка порозовело.

— Не приедет,— медленно заговорила она.— Я ведь тогда письма просто так, черт-те кому сочиняла... А в ответ ни строчки... Да и кто написал бы, письма-то не отсылала...— Валька повернулась и, смерив строгим взглядом Таню, добавила: — В общем, Крупнокалиберка. Все так дразнят, я ведь знаю.— И слезы выступили у нее на глазах.

Через три дня Таня уехала. Прощались долго. Валька, как и Таня, чуть не плакала. Но на этот раз сдержала слезы.

— Вот и распалась наша «троица»,— говорила она,— мужики, они что хочешь растащат. Ну, ты, гляди, держи его в строгости. Веди женскую политику.

Теперь Валька жила одна, и ей все время чудилось, что вот откроется дверь и войдут Мила и Таня. Валька всегда к их приходу успевала приготовить ужин. Но девчонки не приходили.

Валька подолгу стояла у окна. Стекла были заморожены, в трубе, не унимаясь, гудел ветер. А Вальке казалось, что это клекочут лебеди, улетающие на юг. Она смотрела на большое белое перо, приколотое на самом видном месте в комнате, и надеялась, что с юга лебеди принесут и ей тепло и настоящую любовь, о которой пишут в книжках.

Человечки железного ящика

Это случилось давно, когда в чукотскую тундру впервые пришло радио.

Пастухи всей бригадой собрались в одном пологе. Тесно прижавшись друг к другу, они слушали музыку, лившуюся из радиоприемника, и пили чай, обжигая потрескавшиеся от весенних ветров губы.

В пологе душно. Пахнет едко потом и дымом дешевых сигарет. Из открытого чайника поднимается пар. Поднимается пар и от блюдец, словно от весенних проталин в солнечную погоду. Пастухи медленно подносят блюдца к губам, дуют на пар и со свистом отхлебывают чай.

Радиоприемник в бригаду привезли недавно. Когда колхозный радист, белобрысый парень с голубыми грустными глазами, устанавливал приемник в пологе, молодой пастух Тнелькут крутился льстиво вокруг него. Он помогал радисту, хватался за все подряд и по самое горло надоел парню своей навязчивостью.

— Хочу быть, как ты, радистом,— говорил Тнелькут.— Радисты, слышал, много получают денег. Научи меня, я старательный.

Радист, соглашаясь, кивал головой. Ему не хотелось откровенно говорить Тнелькуту, что из этой учебы ничего не получится, потому что у Тнелькута только четырехклассное образование. Радист боялся: пастух прицепится как репей и без конца будет уговаривать его — такой уж надоедливый парень.

К вечеру радист установил приемник, послушал немного и, научив Тнелькута включать и выключать его, уехал назад в поселок.

С этого дня пастухи каждый вечер собираются в пологе послушать «говорливую коробку». А Тнелькут считает себя главным радистом в бригаде.

Омрылькот, большеголовый, с длинными седыми волосами, с узким коричневым шрамом на лице (память о встрече с медведем), давно туговатый на ухо, не стал пить чай. Прильнув к зеленому глазу приемника и словно окаменев, старик слушает музыку. Ухо приятно щекочет тепло, идущее от таинственного зеленого глаза. Слышно, как дышит и потрескивает удивительный железный ящик.

Тнелькут, хитрый, лукавый, как тундровый суслик — евражка, то и дело поворачивает голову в сторону Омрылькота, многозначительно подмигивает остальным пастухам, прыскает со смеху:

— Смотрите, совсем сбила с толку старика железная коробка. Влюбился в нее старый морж.— Он растягивает и без того длинные губы.— Чудные люди старики, знай к чему-нибудь прицепятся, то к собаке, то вот к приемнику. Делать им, что ли, нечего? Не могу понять, хотя парень я умный.

Омрылькот повернулся на хохот пастухов, зло посмотрел на Тнелькута и раздраженно сказал:

— Эх, ты, евражка! Любой ездовой олень — и то умней тебя, хоть ты и в школе учился. Наука храбрости тебе не дала. Душа как была заячья, так и осталась, а мозг жирный, как нерпа, не может ловко шевелиться. Хвали себя не хвали, умнее не станешь.

Пастухи, потные от выпитого чая, прищурив глаза, благодушно смеются, покачивая головами. Тнелькут, сдерживая смех, смотрит на старика с подчеркнутым превосходством:

— Зря обижаешь мой ум. Ты первый раз увидел приемник и то влюбился в эту железную коробку. А в моей голове она по винтикам разложена. Каждый проводок знаю для чего. Я радист... Во-о... Ясно?

— Все равно моокор умнее тебя!

Старик отвернулся, не хочет больше разговаривать с Тнелькутом. Он закрыл глаза и ближе подвинулся к коробке. После того как в бригаду привезли приемник, совсем стал плохо спать Омрылькот. Старик из гордости стеснялся спросить молодого пастуха Тнелькута, как это смог радист посадить в такую маленькую коробку женщину и мужчину, которые очень много говорят, никогда не вылезают из коробки и смотрят только в одно зеленое окно. Боялся спросить об этом старик у Тнелькута, потому что хорошо знал цену его острому языку.

«Однако, плохо, совсем плохо живется людям в коробке,— думал Омрылькот,— воздуха совсем мало, солнца нет, костра нет и чаю не пьют, все говорят, говорят... Эх-х, плохо им так жить...»

Старик с трепетом вслушивался в звуки музыки, нежные, подобно лучам весеннего солнца. Песня скрипки пронизывает сердце старика, и оно плывет куда-то далеко. И видится ему солнечный зеленый летний день, когда был еще молодым, сильным, когда без отдыха мог пасти оленей и не болели ноги, не кружилась голова от усталости. Тогда к нему пришла застенчивая черноглазая Етгеут. Она склонила голову на плечо Омрылькоту и сказала, что согласна стать женой. Как радостно забилось его сердце, какой счастливый это был день! Наверное, самый счастливый в жизни. Но давно это было. Теперь уже почти забыл Етгеут, смутно помнит ее лицо, фигуру, ее голос. Етгеут умерла совсем молодой. Давно это было: тогда еще в стойбище не приезжали доктора, и некому ее было вылечить.

Неожиданно музыка стихла. Приемник захрипел, и вдруг громкий голос произнес:

— Говорит Анадырь! Слушайте последние известия.

Все в пологе стихли, отодвинув в сторону блюдца с недопитым чаем. Нет ничего интереснее для пастухов, чем новости. О них рассказывал звонкий голос из приемника.

Омрылькот вслушивался в родную речь и, удивляясь, качал головой. Как они там живут в такой маленькой коробочке, сами, наверно, совсем крохотные? Когда кончили передавать последние известия, Тнелькут выключил приемник, дерзко взглянув на Омрылькота. Старик ответил ему пренебрежительным взглядом.

Время было позднее. Устав за длинный весенний день, пастухи сонливо тянулись к мягким оленьим шкурам. Вскоре в пологе потушили свет. Все легли спать. Только Омрылькот остался сидеть в темноте у приемника. Прижав ухо к погасшему зеленому глазу, он старался различить шорохи внутри коробки. Но кругом было тихо. От приемника струилось тепло, как изо рта важенки. Он чувствовал это тепло и думал, что это дышат люди — маленькие человечки. Тепло медленно, незаметно угасало, словно коробку относили дальше и дальше. Наконец старик перестал чувствовать тепло. Он поднялся, отполз к стене полога, лег и закрыл глаза.

— Замечательных успехов добились олеповоды...— заговорил над ним мужской голос.

Омрылькот вздрогнул, приподнялся на локтях и со страхом покосился в сторону приемника. Но в пологе тихо, только слышалось размеренное дыхание спящих пастухов да Тнелькут храпел громко. Такой засоня, не успел положить голову на шкуру, как уж захрапел, будто морж.

«Молчат в коробке. Тоже, наверно, спать легли,— успокаиваясь, подумал старик.— Это в моих ушах остался их голос».

Омрылькот снова лег на шкуры, закрыл глаза. И вдруг опять прозвучал над ним голос мужчины из приемника. Старик вздрогнул, но тут же заставил себя успокоиться.

Он повернулся на другой бок, съежился под мягкой, накинутой вместо одеяла кухлянкой. Старик хотел уснуть, но не мог. Мысль о железной коробке, в которую радист посадил людей, не давала ему покоя. Он видел их, маленьких, беспомощных, одетых в маленькие торбаса и кухляночки, с черными точками-глазками, с маленькими носиками, тоненькими ручками и ножками. Какие они добрые и безропотные, какие бледные и печальные, как трудно им жить в коробке, где так мало воздуха, совсем не бывает солнца!..

Утром, когда все встали, старик почувствовал себя больным. Пастухи в бригаде не на шутку всполошились. Старика даже не пустили на рыбалку... Его уговорили остаться в пологе, укрыли шкурами.

Пастухи ушли по делам, в яранге наступила тишина. Омрылькот медленно поднялся, подполз к приемнику, стал на четвереньки, и от этого легко закружилось в голове.

— Мей, мей! — закричал старик, губы у него пересохли, а голос охрип.— Кто тут есть? Скажи! Что тебе нужно? Сахар нужно?

Старик долго напряженно прислушивался, прильнув ухом к приемнику. Было тихо. Старик слышал, как стучит у него сердце — «тук-тук-тук», слышал, как при вдохе воздух влетал в грудь, посвистывая, как при выдохе выползал, устало шипя.

Тихо, никто не отвечает.

Тогда Омрылькот снова стал просить невидимых человечков железного ящика откликнуться. Они молчали. И Омрылькот решил: «Они еще спят, вечером допоздна говорили».

Он отполз назад в угол, укрылся кухлянкой и вскоре заснул. Спал беспокойно, виделись маленькие человечки, которые хватали его за руки и просили, чтобы он спас их. И Омрылькот бежал в стадо к пастухам, начинал просить их выпустить маленьких человечков...

— Они умрут... они умрут...— кричал старик во сне.

Крик старика услышала работница Елена, выскочила из яранги, перепуганная насмерть, и побежала собирать женщин. Вскоре в пологе было полно народа. Работницы яранги прибежали посмотреть, как умирает Омрылькот — самый старый человек в стойбище. Женщины не знали, что делать. Одни предлагали напоить старика крепким чаем, другие — растереть уши, третьи говорили, что это не поможет, потому что Омрылькот стар и за ним пришла смерть.

От шума Омрылькот проснулся, но глаза не открывал. Он слышал женский разговор, и ему хотелось узнать, что о нем будут говорить женщины.

Но скоро старику надоело слушать галдеж, и он подумал удивленно: «Неужели я действительно умираю? Неужели я сегодня умру, как любимый друг — пес Темкен — Лохматая Кочка?» Это испугало старика, он стал представлять себе свою смерть, и она почему-то походила на смерть Темкена.

Это было полтора года назад. Пес лежал тогда в яранге, не в силах поднять головы, бока его вздымались судорожно, он хрипел, задыхался. Старик пытался напоить пса водой: но Темкен уж ничего не хотел. Он был стар, немощен. А когда-то Темкен, резвый, сильный, не в пример другим собакам, бросался даже на медведей.

...Случилось это весной. Снег еще лежал в оврагах, в ущельях гор, но было уже тепло. Омрылькот возвращался из стада после дежурства. Пять лет назад он мог еще пасти оленей и даже взбираться на сопки. Дорога шла по кустарнику. Темкен бежал впереди. Омрылькот всю ночь не спал, сильно устал и поэтому шел медленно.

На полпути Омрылькот почувствовал, что за ним кто-то идет. Когда оглянулся, сердце замерло. Прямо к нему медленно шел медведь. Омрылькот от страха стоял как вкопанный, не зная, что делать. Оружия, кроме ножа, у ста-

рика не было. Медведь зарычал и бросился на Омрылькота. Падая, Омрылькот закричал что есть силы:

— Тем...ке...ен!!!

Больше Омрылькот ничего не помнил. Когда очнулся, то почувствовал на лице теплую, липкую кровь, тело сковала боль. Омрылькот с трудом приподнялся и увидел, что рядом лежит Темкен с разорванным боком. Пес жалобно скулил. Омрылькот забыл о своей боли, о страхе перед медведем, взял пса на руки и побежал к ярангам.

Через два месяца Темкен поправился и еще прожил четыре года. Он совсем состарился и не мог уже ходить. Омрылькот каждый день выносил пса погреться на солнце, приносил из стада сырую печень, ловил рыбу. Вскоре Темкен не стал различать хозяина и не стал есть. Омрылькот совал ему в пасть разжеванное мясо, но пес не мог пошевелить челюстями. Потом Темкен издох, и Омрылькот плакал, словно у него умер сын. Старик закопал пса на вершине невысокого холма, а на могилу положил оленьи рога. По чукотскому обычаю оленьи рога кладут на людские могилы.

По утрам старик ходил на могилу собаки, сидел, думал, вспоминал...

За тяжелыми раздумьями Омрылькот не заметил, как ушли из полога женщины и место их заняли пастухи, вернувшиеся из стада.

Наконец Омрылькот очнулся, увидел тревожные лица пастухов и беспокойно спросил:

— Что случилось? Почему не говорит железный ящик?

Пастухи переглянулись и засмеялись. Громче всех смеялся Тнелькут.

— Видите? — сказал он. — Старик притворяется. Рыбачить ленится, женщин пугает... Я же говорил, здоров он...

Омрылькот ничего не ответил. Он не хотел оправдываться. Были дела поважней. Он снова стал думать, как же спасти человечков из железного ящика?

Утром следующего дня старику стало легче, и он отправился на рыбалку. Сгорбившись, вышел из яранги и, закинув за спину сеть, побрел к реке. Идти недалеко. Стоит спуститься с небольшого холма, на котором расположились яранги, перейти по льду два озера, пробраться через кустарник, а там и река. Омрылькот всегда ловит рыбу за поворотом, где глубокая яма: голец и хариус зимой водятся только в ямах.

После дымной яранги воздух в тундре казался свежим. Старик вдыхал его полной грудью, и ему было весело от того, что воздух приятно холодит внутри.

Омрылькот в это утро вышел раньше обычного. Тундра сегодня выглядела особенно чистой. Старик вначале не мог понять, почему это так. Потом догадался. Ночью выпал снег, тундра, ранее пятнистая от проталин, стала белой. Под ногами снег хрустел упруго, громко, он был крупнозернистым,— такой снег выпадает только весной.

У кустарника Омрылькот задержался, нечаянно задел ветку, с которой на снег упала почка. Морщины на лице старика сбежались, он нахмурился, негодуя на свою неосторожность. «Ну вот,— подумал он,— я убил зеленый листок!»

На реке Омрылькот принялся долбить лунку, чтобы поставить сети. В разгар работы старик снова стал думать о человечках из железного ящика. И когда начал долбить вторую лунку, у него вдруг родился дерзкий замысел. Даже пешня выпала из рук. До конца работы Омрылькот продолжал обдумывать свой замысел и все более убеждался, что он единственно правильный.

В эту ночь рыбак долго ворочался с боку на бок. Опять он не мог уснуть: зеленый глаз приемника неотступно преследовал его. Спокойный сон пастухов раздражал старика,

ему хотелось разбудить их и заставить выпустить из коробки крошечных людей, но он боялся, что пастухи станут над ним смеяться и не разрешат лишить их удовольствия — слушать песни невидимых человечков.

В полночь Омрылькот не выдержал. Он поднялся, ощупывая ноги спящих пастухов, осторожно пополз к месту, где спал молодой Тнелькут. Старик нашел его ногу и стал трясти:

— Тнелькут, вставай...— взволнованно шептал старик.— Люди в коробке мучаются. Давай выпустим их оттуда. Ты ведь радист.

Тнелькут поднял сонную голову.

— Я ночью не дежурю,— обалдело забормотал он.— Я ничего не знаю...— и, уронив голову, тотчас уснул.

— У-у-у... засоня! — рассердился Омрылькот.

Старик повернулся, пополз обратно и стал шарить рукой, отыскивая скользкую коробку приемника. Нащупав ее, вздрогнул, холод побежал по телу. Осторожно вытянул из ножен свой нож...

Утром в пологе проснулись рано. Когда зажгли свечу, пастухи окаменели, увидев разломанный на части радиоприемник.

Старый Омрылькот спокойно спал в углу.

Сердце неубитого медведя

Все началось с того, что из далекого поселка оленеводов в школу приехала новая ученица Соня Аренкау, круглолицая, с маленькими губками, с длинными темными волосами и большими, со спокойным гордым взглядом глазами. Она была невысокой, полненькой и ходила мягко, пританцовывая. Когда Соня смеялась, на ее смуглых пухленьких щеках появлялись крошечные ямочки.

Новая ученица была почти отличницей, и все считали, что она непременно закончит школу на «отлично» и ее направят учиться в Ленинград, в Институт народов Севера. Может оттого, что все на Соню обращали внимание, или красота была тому причиной, новенькая оказалась капризной и гордой, ни с кем не дружила, а только командовала.

Ребята из восьмого класса, в котором Соня Аренкау училась, слушались ее: они всегда слушаются таких девочек. Многие были влюблены в Соню и даже писали тайком записочки, но она никогда на них не отвечала.

Толя Вуквутагин, высокий, сильный и самый старший из всех учеников в школе, потому что просидел год в пятом и год в шестом классе, тоже был влюблен в Соню. Учился Толя неважно, хотя на уроках и подготовительных занятиях никогда не баловался. Кроме физкультуры и поведения, все предметы давались ему трудно. Но в кружке «Юный оленевод», который вел

совхозный зоотехник — толстый спокойный Иван Лукич Самохин, он занимался хорошо. Третий год Толю избирали даже старостой этого кружка, и Иван Лукич называл его настоящим оленеводом. Кружок посещали ученики только четвертых и пятых классов, потому что старшеклассники занятия эти считали неинтересными. Толя же ходил в кружок регулярно, с большим удовольствием слушал все, о чем там говорили: он любил оленей, они для него были самыми красивыми животными в мире.

Вуквутагин не мечтал стать летчиком, ученым или космонавтом, а хотел быть, как и отец, оленеводом. Толя, единственный из всех ребят в классе, говорил об этом не стесняясь.

Остальные думали учиться на трактористов, стать врачами, радистами, инженерами. Почти никто из них не хотел быть оленеводом. В душе кто-то, может быть, и желал работать пастухом в стаде, но во всеуслышание объявить это стыдился. Бывало, что учителя тому, кто плохо выучит урок или неважно ведет себя на занятиях, говорили: мол, если будешь плохо учиться, то ничего путного из тебя не выйдет и после школы придется идти в тундру пасти оленей, а техникум, институт останутся несбыточной мечтой.

Как-то в прошлом году в седьмой класс пригласили на встречу оленевода Татро. Бригадир он опытный, известный, бригада, руководимая им, из года в год добивается высоких показателей. Получил Татро медаль «За доблестный труд», имя его есть в Книге почета.

В тот день Татро только приехал из тундры. Директор школы встретил его в совхозной конторе и уговорил пойти на встречу. Посадили бригадира за учительский стол, перед всем классом, попросили, чтобы рассказал, как добился таких хороших результатов.

В классе было жарко, а Татро сидел в меховой одежде, в которой и сорокаградусный мороз не страшен. Пот семью ручьями струился по лицу оленевода. Раньше Татро часто

выступал на собраниях оленеводов и выступал неплохо, но вот перед детьми, такими бойкими, чистенькими, аккуратно причесанными, в белых рубашках и алых галстуках, ему выступать никогда не приходилось.

Засмущался бригадир, а тут еще жара совсем сбила с толку. Сказал несколько ничего не значащих слов, но для чего их сказал, и сам не понял. Ребята в классе стали перешептываться.

Ушел Татро из класса сердитый, а директор объявил, что беседа не состоялась, потому что Татро нездоровится. Это явно придуманное оправдание вызвало смех в классе.

Один Толя Вуквутагин не смеялся, потому что вдруг представил себя на месте Татро, и ему стало жалко оленевода. Толя встал и сказал, что ничего в этом нет смешного. Но на него зашикали: мол, молчи, второгодник несчастный.

Теперь Толя смелый стал, учится последний год, и переведут его в девятый не переведут — больше учиться не будет: твердо решил идти работать в совхоз. Это, видно, поняли даже учителя: на уроках его почти не спрашивают, двоек не ставят и ни за что не ругают. Толя сидел на последней парте и все время смотрел на Соню, но подойти и поговорить с ней не решался.

Чем для Вуквутагина была Соня, он еще сам не понимал. Толя все время думал о ней, все время хотел видеть ее, но, как ни странно, боялся Сони, вернее, не боялся, а стеснялся. Почему это так, Вуквутагин не знал. Может быть потому, что Соня отличница, а он плохой ученик, или потому, что отец ее директор совхоза и все с ней говорят как со взрослой. А может, еще почему-то?

Однажды на школьном вечере, когда после небольшого концерта художественной самодеятельности начались танцы, робея так, что ноги подкашивались, Толя пригласил Соню на танец. Танцевал он плохо и раза три умудрился наступить девочке на ногу. Видно, наступал больно, потому что всякий раз Соня морщилась и смотрела на него

недобрыми глазами. За весь танец он не проронил ни слова, хотя хотел сказать о многом. Слова застревали в горле, Вуквутагин только старательно сопел, как олень, и молчал, будто немой.

В конце танца Соня сказала ему:

— Ты меня больше, пожалуйста, не приглашай...— и глянула так требовательно и строго, что у него перехватило дух.

Толя не понял, почему нельзя больше приглашать Соню. Потому ли, что плохо танцевал, наступал на ногу, или есть другая причина? Он долго об этом думал, но ответа так и не мог найти.

Как-то в длинном школьном коридоре, когда никого около не было, Толя схватил случайно пробегавшую мимо Соню Аренкау за руку и, заикаясь от волнения, спросил:

— Т-так п-почему нельзя п-приглашать?

Она не поняла вначале, о чем это Вуквутагин говорит, смотрела на него с удивлением. Потом гневно сказала:

— Пусти!

Он все равно держал ее за руку, и глаза его стали сужаться.

— Нет, скажи п-почему? — повторил Вуквутагин свой вопрос.

Соня вдруг вспомнила тот вечер, когда Вуквутагин, такой здоровый, неуклюжий, пригласил ее на танец, как ей тогда было стыдно с ним танцевать, и только теперь поняла, чего он от нее хочет.

— Просто не желаю, и все! — наконец раздраженно ответила Соня.

Толя по-прежнему держал ее за руку, держал крепко, и ей было даже больно.

— Ну пусти! — окончательно рассердилась она.— Отец всегда говорит, чтобы я подальше держалась от глупых людей, и он прав. А ты... ты...

Соня не договорила. Толя отпустил ее руку и пошел.

Вуквутагин целый час ходил по улице, и когда учительница спросила, почему он пропустил урок географии, ответил, что у него болела голова. Первый раз Толя сказал учителю неправду.

Долго после объяснения Вуквутагин не хотел даже смотреть в сторону Аренкау. На уроках сидел хмурый, не отрывал взгляда от парты, а во время перемены, когда Соня скакала по классу и командовала всеми: сделай то, прочитай то,— Толя уходил из класса и бесцельно бродил по коридору. Все время находиться в коридоре было не совсем приятно: первоклассники и второклассники не давали покоя, называли «дядей Степой-милиционером».

Но через неделю Вуквутагин забыл обиду.

Опять на уроках стал больше смотреть на Соню, чем на учителя. И на перемене никуда не уходил — слушал веселую болтовню девочки.

В начале декабря в школе произошло событие, которое многое изменило в жизни Толи Вуквутагина.

На областную математическую олимпиаду школьников был направлен из их класса худенький, болезненный на вид, с большими оттопыренными ушами Женя Горохов. У него были сплошные пятерки по математике, и все его считали лучшим учеником. На олимпиаде Горохов занял призовое место и привез диплом. Встречали его всей школой, а на линейке директор назвал Женю гордостью не только школы, но и района.

Женя был парнем скромным, не заносчивым, успех на олимпиаде не вскружил ему голову, но в школе не только ученики, но и учителя стали относиться к нему по-особенному. Теперь ребята не дразнили его, как прежде, «ушатиком», а учителя не ставили троек, даже если он плохо отвечал. Соня Аренкау и та изменила отношение к Жене Горохову. Теперь все заметили, что они пишут друг другу записочки, а после уроков идут домой вдвоем. Они даже вместе стали ходить на лыжах и кататься с горки на

санках. Девчонки в классе шушукались и говорили: мол, Соне потому стал нравиться Женя, что на олимпиаде занял первое место, до этого, мол, она на него не смотрела. Мальчишки за глаза стали называть Соню «невестой», а Женю «женихом».

Толя Вуквутагин все понимал. Понимал, что никто не запретит Соне идти из школы домой или кататься на санках с тем, с кем она захочет. Только в одном сомневался Толя: действительно ли Аренкау стал нравиться Горохов лишь потому, что завоевал приз на областной олимпиаде.

На новогоднем школьном балу Толя был в костюме волка, а Соня превратилась в хорошенькую Снегурочку. Она водила хоровод с ребятами младших классов, танцевала, смеялась и была самая красивая на вечере.

Толя долго не решался пригласить Соню на танец — все время помнил ее сердитые слова, но желание узнать, почему ей стал нравиться Женя Горохов, придало ему смелости.

Уже под конец бала, когда танцевать было разрешено только старшеклассникам, а малыши ушли спать, Вуквутагин подошел к Снегурочке и коротко, как взрослый, пригласил:

— Разрешите?

Соня сразу узнала Толю, хотя лицо его закрывала маска. Вуквутагина нетрудно было узнать. Он головы на две выше всех в школе, и походка у него особенная — ходит как-то скованно, словно груз на плечах носит.

В первое мгновение Соня хотела не пойти с Вуквутагиным танцевать. Но, может быть, оттого, что в праздник нельзя огорчать людей, что Снегурочки всегда добры и снисходительны, Соня не сделала этого.

Во время танца Толя решительным и требовательным голосом спросил:

— Правда, что Горох Женька т-тебе понравился п-после того, как п-приехал с олимпиады?

— Это тебя очень интересует? — спросила она в свою очередь надменным тоном.

— Д-да, о-очень!..— по-прежнему заикаясь от сильного волнения, сказал Толя.

— Какое тебе дело? Может, и так! — Соня прищурила глаза и посмотрела на него сердито. Потом, словно решив смягчить свою недоброту, скупо улыбнулась.— Смешной ты! — добавила она и уж больше до конца танца ничего ему не сказала.

А Толя думал, что вот ей можно делать все, смеяться над ним и дружить с тем, с кем хочет, потому что она отличница и красивая. Женя Горохов может пригласить на танец любую девочку в школе, и она не откажет ему, потому что Женя — гордость школы. Толе было обидно, что сам он не отличник, как Горохов, и нет у него никакого таланта.

В январские каникулы, когда Толе Вуквутагину разрешили жить не в интернате, а у бабушки Еккы, он все время думал: что можно сделать, чтобы о нем заговорили в школе. Толя понимал: совершить нужно необычное, такое, что удивило бы и обрадовало всех. Тогда Соня относилась бы к нему по-другому.

Толя Вуквутагин был хорошим спортсменом и в прошлом году даже занял пятое место в округе по лыжам. Конечно, если бы он потренировался как следует, то мог бы занять и лучшее место.

Вначале ему казалось, что лыжи — это то, что ему поможет показать себя. Но, подумав, решил, что грамоты и призы на соревнованиях не принесут желаемого успеха в глазах Сони. Во-первых, Соня почему-то не ценит в человеке силу, он это заметил давно. Если в классе заходил разговор о спортивных достижениях, о рекордах штангистов, бегунов, борцов, она всегда говорила: что тут особенного, сила есть — ума не надо. Во-вторых, все в классе почему-то считали, что физкультурой следует заниматься

умеренно, для красоты тела и для здоровья, а чрезмерное увлечение спортом — дело ненужное.

Как-то бабушка Еккы попросила Толю пристроить еще один небольшой запасник для угля. В конторе совхоза бабушке пообещали привезти целую машину топлива, а в старый запасник может уместиться лишь полмашины. Если оставить часть угля на улице, его занесет снегом, снег слежится, станет, как лед, и, чтобы добыть из-под него уголь, нужно будет потратить много сил. Для старенькой бабушки это тяжело.

Освобождая в кладовке угол от шкур, старых нартовых полозьев, ведер, банок, поломанных стульев и другой утвари, которую бабушка не позволяла выбросить, считая, что в хозяйстве все пригодится, Толя наткнулся на старую-престарую винтовку. Он удивился и подумал, что с этой винтовкой, наверное, охотился еще его дедушка.

Когда Вуквутагин рассматривал винтовку, его и осенила счастливая мысль. Толя сразу решил, что наконец у него будет возможность заставить по-иному относиться к нему Соню Аренкау. Он вспомнил, как Соня однажды с восторгом рассказывала о тигроловах в уссурийской тайге, о которых она читала не то в книге, не то в журнале. «Конечно, на Чукотке тигров нет,— подумал Толя,— но есть зато бурые медведи. В сопках можно найти берлогу». Решение было принято, и уже ничто не могло заставить Вуквутагина отступиться от него.

За два дня Толя успел расширить запасник, а когда привезли уголь, не покладая рук таскал его в кладовку, чтобы поскорее освободиться от работы по хозяйству.

Винтовку он быстро привел в порядок. Конечно, дело это нелегкое, пришлось попотеть, потому что винтовка слишком долго лежала в кладовке и покрылась ржавчиной.

Труднее было раздобыть патроны. В доме у бабушки их не оказалось, хотя Толя перерыл все ящики. Патроны

для винтовки есть в совхозном складе, но их ему никто не даст. В конце концов Толя решил попросить патроны у самого старого в поселке охотника Какая. У этого старика всегда все найдется, и он добрый, отзывчивый, никогда никому ни в чем не отказывает. Старый охотник уж давно не работает в совхозе, но летом еще по привычке ходит к морю поохотиться на нерпу. У Какая морщинистое, темное, сухое лицо с белесыми, плохо видящими глазами. Говорит он медленно и хрипло.

Войдя в дом старика, Толя долго стоял у порога, не решаясь сказать о цели своего прихода. Когда он наконец объяснил, что ему нужны патроны, Какай, который все время лежал на кровати, поднялся и вышел в сени. Вернулся он с пачкой патронов для мелкокалиберной винтовки.

Толя огорчился, подумал, что у старика, наверное, нет других патронов, и стал торопливо объяснять, какие ему нужны. Какай, опять не проронив ни слова, ушел в сени и принес совсем немного других патронов. Высыпав их перед Толей на стол, старик молча лег на кровать.

Патроны были большие, с темными заостренными пулями. Это как раз то, что нужно Вуквутагину. Он даже чуть не вскрикнул от радости. Только маловато их было, и пристреливать винтовку не придется.

— Ты уже почти взрослый,— сказал Какай.— Я хорошо знал твоего деда, мы с ним часто охотились. Смелый он был, метко стрелял.— Старик помолчал, потом неожиданно добавил: — Когда стреляют в большого зверя, часто целятся в голову. В голову, конечно, труднее попасть, но зато выстрел бывает смертельным.

«А я не для охоты»,— хотел сказать Толя, но постеснялся врать. Он только покраснел и, засунув в карман патроны, поспешил выйти.

До начала занятий в школе оставалось дня четыре, и Вуквутагин решил действовать немедленно.

Рано-рано утром, когда на улице было еще темно, как обычно бывает перед рассветом, когда крепко спала бабушка Еккы на своей кровати у печки, Толя поднялся, пошел в сени, надел меховую одежду отца, взял винтовку, патроны, лыжи, рюкзак с продуктами, приготовленный с вечера, и вышел на улицу.

Было морозно, чуть ветрено, на небе еще светились звезды. Все это говорило о том, что днем будет хорошая погода.

У крыльца Толя встал на лыжи и не спеша заскользил по снегу. Он шел по пологому берегу, в сторону гряды сопок. Легко, свободно скользили лыжи. Несколько дней назад выпал снег. Он еще не утрамбовался, не смерзся и потому был сравнительно мягким. Изредка на пути попадались полосы обледенелого наста. Идти по насту совсем плохо: лыжи разъезжаются в стороны, и нужно делать маленькие шажки, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Через час, когда Вуквутагин почувствовал, что достаточно разогрелся, он снял нижнюю, более тонкую кухлянку — эвычанэръын и остался в одной верхней. Идти теперь стало легче и можно было не опасаться, что нижняя кухлянка намокнет от пота.

Вскоре Вуквутагин поднялся на склон небольшого перевала, где было тихо, и решил отдохнуть. Он снял с плеч рюкзак, достал аккуратно упакованный в металлическую коробку примус, который подарили ему ребята в прошлом году на день рождения, разжег его в вырытой в снегу неглубокой ямке.

У Толи в рюкзаке было несколько кусков юколы — вяленой рыбы, и, пока в банке таял снег, он успел отогреть один кусок. Съев юколу и напившись сладкого чаю, он собрал вещи и снова тронулся в путь.

Когда Вуквутагин поднялся на перевал и оглянулся, перед ним открылся удивительный вид. Густое алое огромное солнце наполовину выглянуло из-за горизонта, и небо

над ним было таким же алым. Снег внизу, в долине, по которой недавно шел Вуквутагин на лыжах, был голубоватым. Белесые языки поземки появлялись неожиданно то там, то тут, преображая тундру. Казалось, что это вовсе не поземка мечется по снегу, а хвостатые, пушистые песцы. По волнистой равнине будто все куда-то бежала и бежала стая песцов. Исчезали одни, но тут же появлялись другие.

Толе нравилось быть одному в снежных далях среди этой светлой голубизны, где чувствуешь себя большим и сильным. Ему казалось, что главное — это отыскать берлогу, а потом все будет очень просто, потом все решит меткий выстрел. А стрелял Толя здорово, об этом говорили даже ребята в школе. Правда, старую винтовку он не пристрелял, потому что у него было мало патронов, но Толя надеялся на свою меткость и находчивость.

Преодолев перевал, Толя спустился в узкое ущелье. Идти стало трудно, мешал наст и сильный встречный ветер.

С обеих сторон возвышались сопки с бесснежными склонами. Кругом торчат темные, потрескавшиеся камни, кое-где виден чахлый приземистый кустарник. В ущелье всегда гуляет ветер, и потому на склонах почти нет растительности и не задерживается снег.

По долине Вуквутагин шел медленно, внимательно присматриваясь к распадкам, где снег был особенно глубоким и где, по рассказам бывалых охотников, косолапый часто устраивает свою берлогу.

Летом в сопках бродит много медведей. По этим местам стараются даже не гонять оленьи стада, потому что звери нападают на животных.

Вуквутагин был уверен, что на зимнюю спячку медведи ложатся именно здесь. «Потому что,— думал он,— им совсем не выгодно уходить на зиму куда-то далеко, чтобы потом летом возвращаться назад».

День прошел в поисках медвежьей берлоги. Поздно вечером, когда солнце скрылось за сопками и стало совсем темно, Толя остановился на отдых. В овражке, где не так сильно дул ветер, в высоком сугробе Вуквутагин вырыл с помощью ножа углубление. Пол своего убежища Толя устлал пушистыми, с зелеными колючими иголками ветками стланика. Они были мерзлыми и потому совсем не пахли. Из таких веток в клубах и школах на Севере под Новый год делают елки.

Перед сном Толя съел большой кусок юколы, натопил снега и напился сладкого чаю.

Тонкую кухлянку, снятую во время ходьбы на лыжах, Вуквутагин теперь надел. Она была сухой и хорошо грела. Чижи — меховые чулки пришлось сменить. Толя достал запасные, а снятые, влажные от пота, вывернул мехом наружу и засунул за пазуху: к утру они там подсохнут.

Вуквутагин лежал на ветках стланика и долго не мог уснуть. Смотрел на небо, такое темное и звездное. Луна только взошла и была какой-то тусклой, мутной.

Толя все время думал о Соне Аренкау, видел ее перед собой, красивую, большеглазую, и представлял, как Соня будет хорошо к нему относиться, когда узнает, что он убил большого бурого медведя, и директор школы назовет его настоящим охотником. Она станет гулять с ним по улице, кататься на санках и лыжах, ходить в кино.

Дул ветер, было холодно. В такую морозную ночь нельзя долго спать. Это Толя хорошо знал и, засыпая, успел подумать, что нужно обязательно побыстрее проснуться — иначе можно во сне замерзнуть.

Спал Вуквутагин крепко, но не долго. Когда открыл глаза, то сразу почувствовал, что сильно замерз. Толя вылез из своего убежища, стал прыгать, махать руками, согрелся и тогда как следует осмотрелся. «Светлая, тихая ночь — это всегда к пурге»,— подумал он.

Пурги Толя не боялся, она для него была привычной. Его просто огорчило, что в пургу он не сможет искать берлогу.

Толя опять лег в углубление, вырытое в снегу. Спать теперь совсем не хотелось. Все небо было в крупных ярких звездах. Такое же звездное «небо» бывает на новогодних карнавалах, когда берут кусок темной материи и наклеивают на него большие звезды, вырезанные из серебристой бумаги.

Пурга началась утром. Порывы резкого ветра обрушились на землю. Снег, поднятый вихрем, закрыл собой небо, горизонт и все пространство. В двух-трех шагах уже ничего нельзя было различить. Ветер гудел, будто турбины реактивных самолетов.

Толя проснулся от того, что лицо его стало заносить снегом. Он приподнялся, отряхнулся и стал выбираться через наполовину уже засыпанное отверстие.

Стоять было трудно. Ветер будто хотел оторвать его от земли, швырнуть в сторону, подбросить вверх и закрутить, завертеть в снежной неразберихе.

Толя любил пургу, любил идти навстречу такому ветру и побеждать его. Тогда он чувствовал себя мужественным и сильным.

Часто, когда над поселком разъяренной медведицей ревела пурга, Толя одевался тепло и тайком, чтобы не беспокоить никого, уходил из интерната побродить по улице. Возвращался он с такой прогулки весь в снегу, замерзший, усталый, но счастливый.

Теперь, находясь за десятки километров от поселка, Толя понимал, что шутить с пургой опасно. В такую погоду немыслимо найти жилье человека, затерянное в снегах. Нужно было пережидать непогоду.

Толя откопал в снегу свои лыжи, воткнул их поглубже в сугроб, чтобы не унесло ветром, и стал ходить вокруг, старательно утрамбовывая снег. Ветер свистел, ревел, над-

рываясь, швырял в лицо снег, и ничего, кроме торчащих лыж, не было видно в этих колючих вихрях.

Согревшись, Вуквутагин залез в свое убежище, расчистил его и сжался в клубочек. Спал чутко и недолго, вернее, не спал, а дремал и, когда замерз, снова вылез и стал ходить вокруг лыж. Главное теперь — не отчаяться, не пойти неизвестно куда, главное — переждать пургу, которая может длиться и один день и десять.

День тянулся долго, потом наступила еще более длинная ночь, потом пришел новый день и новая ночь, а пурга все не унималась.

На четвертые сутки у Толи почти не осталось еды. Кусочек юколы, пять комочков сахара — вот и все. Теперь Вуквутагин ничего не ел — берег юколу и сахар, чтобы подкрепиться перед тем, как идти домой. Он уже редко вылезал из своего убежища, лежал на стланике, берег силы. Когда становилось холодно, шевелил руками и ногами, это немного согревало. Спать Толя себе не позволял. Он ослаб и знал, что если заснет, то так крепко, что больше не проснется.

Временами Вуквутагин впадал в какую-то странную дремоту. Он вроде и спать не спал, но ему все время чудилось, что наверху кто-то топчется на месте, даже слышно, как снег хрустит под ногами и, заглушая вой ветра, зовет его:

— Иди сюда... иди сюда... аа!

Вуквутагин знает, что там никого нет. Он усилием воли прогоняет странную дремоту, и крик замирает.

Один раз Толе привиделась даже бабушка Еккы. Будто она варит мясо, а он хочет поехать на нарте в гости к оленеводам. Бабушка почему-то думает, что он собирается на охоту и говорит:

— Смотри, не забудь, когда убьешь медведя, возьми в руки его сердце, и ты станешь самым сильным и самым смелым охотником.

Когда Толя очнулся, то долго думал над словами бабушки. Он не знал, правда это или нет, и решил, что потом обязательно расспросит бабушку обо всем. Она совсем старенькая, живет долго и должна знать, будет ли смелым человек, если он подержит в руках сердце убитого медведя.

Если Толя дремал, он видел школу, ребят-одноклассников, но почему-то ни разу не видел Сони. И это удивляло Толю.

На пятые сутки Вуквутагин с трудом вылез из-под снега. Выход так сильно занесло, что Толя насилу откопал его.

Ветер гудел, как прежде, но Толя почувствовал, что он немного стих. И еще Толя вдруг увидел небо. Темное, с мутными маленькими звездами, оно открылось на мгновение и тут же исчезло. Вуквутагин обрадовался: теперь осталось ждать недолго, пурга вот-вот стихнет.

Утром Толя решил возвращаться домой. Он доел юколу, но был так голоден, что совсем не насытился. Три куска сахару он оставил на дорогу, а два съел.

Сборы были быстрыми. Вуквутагин отыскал винтовку и попытался вытащить из сугроба лыжи, но они так вмерзли в снег, что у него не хватило сил их выдернуть. Толя решил идти без лыж. В такой сильный ветер это и лучше.

Шел медленно, с трудом преодолевая порывы ветра. Видимость была плохой, приходилось идти почти наугад. Иногда Толя останавливался, нагибался и рассматривал направление рапаков — небольших снежных бугров, которые образуются от постоянных северных ветров. Нужно идти немного наискосок от рапаков, и тогда можно будет дойти до поселка.

Он шел день, шел ночь, шел как во сне. Ему хотелось упасть, заснуть и спать долго-долго. Кто-то невидимый даже просил его об этом. Он умолял остановиться, отдохнуть.

Винтовка теперь была такой тяжелой, что от нее ныли плечи. Но Толя нес винтовку и не мог ее бросить, потому что с ней охотился его дед, потому что настоящие охотники, как и настоящие бойцы, никогда не бросают оружие.

На третьи сутки пути, на восьмые сутки после ухода из дома, силы почти покинули Вуквутагина. Он часто падал, поднимался, делал несколько шагов и опять падал. Толя уже не понимал, куда идет, только заставлял себя идти, потому что в этом было единственное спасение.

Потом ему стало мерещиться какое-то странное розовое пятно. Оно все время маячило впереди. Толя изо всех сил старался дойти, дотянуться до него и посмотреть, что это такое: может быть, это вовсе не пятно, а сердце убитого медведя? Но приблизиться и узнать было невозможно.

Пурга кончилась давно. Два дня уже стояла тихая морозная солнечная погода. Но случилось так, что Вуквутагин, временами впадая в забытье, не заметил, что прошел от поселка далеко стороной и теперь не приближался, а удалялся от него.

Раньше всех тревогу подняла бабушка Еккы. Когда в первую ночь внук не пришел домой, она подумала, что он остался ночевать у кого-то из друзей. Такое с ним случалось нередко. Но утром поднялась сильная пурга, и Еккы забеспокоилась. Она обошла всех Толиных друзей, но его нигде не было. Потом старая Еккы обнаружила пропажу меховой одежды, и ей стало понятно, что внук ушел в тундру.

Пурга была очень сильной, и бабушка пошла к директору совхоза, рассказала о случившемся. Тот собрал небольшую группу мужчин, посадил их в вездеход и велел обследовать кустарник в низовьях Большой реки, куда обычно ходили охотиться на куропаток и зайцев.

Через два дня вездеход вернулся ни с чем. Вести поиск в такую пургу — дело почти безнадежное: проедешь в метре от человека и не заметишь его.





Потом директор совхоза позвонил в районный центр, и там стали готовить вертолет, чтобы сразу, как только стихнет пурга, вылететь на поиск. А между тем Вуквутагина искали на вездеходах и собачьих упряжках, но мало кто верил, что его найдут живым.

Толю случайно нашли два пастуха-оленевода, которые ехали на оленях из стада в поселок, далеко от места, где вели поиски.

Толя уже не шел, а полз, и, когда пастухи подняли его, он бредил, шептал какие-то непонятные слова.

В больнице у него в карманах нашли патроны и три кусочка сахара, припасенные на самый крайний случай. С ним была винтовка. Ее внимательно осмотрели и увидели, что боек слегка сточен и потому стрелять она не могла.

Выздоравливать Толя начал быстро. В больницу почти каждый день к нему приходили ребята из класса. Часто приходила и Соня Аренкау. Толя задумчиво, внимательно смотрел на нее, уже не стесняясь, но и не радуясь, как раньше, и, когда Соня начинала восхищенно говорить о его выносливости, ему становилось стыдно.

Через месяц Вуквутагин совсем поправился и выписался из больницы. Но еще долго по ночам ему снилось удивительное, таинственное розовое пятно, которое он так и не смог догнать.

Дикий зверь кошка

Торытьев проснулся рано. Он открыл глаза и увидел, что солнечный луч из окна упирается в пол рядом с его кроватью. Большое светлое пятно лежало неподвижно. Торытьев посмотрел на яркое пятно и вспомнил, что на солнце любит играть и греться его друг. Он совсем маленький, пушистый, мягкий, и глазки у него добрые-добрые.

Мальчик приподнялся, внимательно осмотрел комнату. На койках, расставленных рядами, спали ребята. Ворчливой толстой тети Даши не было.

Ночная няня всегда сидит у печки. Греется и дремлет. Кажется, тетя Даша ничего не видит, спокойно спит, но стоит только кому-нибудь из ребят открыть рано утром глаза и не то что сбегать на улицу за снегом, а только подумать об этом, как тетя Даша, не поднимая головы, бурчит:

— А ну, пупсик, давай дрыхни!

Тетя Даша всех ребят зовет пупсиками.

— Потому что,— говорит она,— все, кто живет в интернате, маленькие.

Тетю Дашу в интернате любят. Если ребята не будут ее любить, она печи плохо истопит и тогда все замерзнут. Так говорила сама тетя Даша. А еще у тети Даши теплые руки, такие, как у бабушки Кли.

Торытьев просунул под одеяло руку и стал искать маленький мягкий комочек. Маленький

мягкий комочек — это котенок. Торытьев зовет его Сереньким.

Нащупав котенка, мальчик взял его за лапки и вытащил на подушку. Серенький замурлыкал. Тети Даши в комнате не было, значит, можно, не боясь, играть с котенком, можно гладить его, можно смотреть в большие круглые глаза и видеть себя.

Сегодня Торытьев проснулся рано потому, что за ним из тундры приезжает отец. Завтра начнутся каникулы, и мальчику очень хочется вернуться в стойбище. Опять он будет с отцом пасти оленей, уходить в сопки с бабушкой Кли за ягодами и кореньями, слушать сказки дедушки Нуваттагина и рыбачить. Тетради, книжки там, в яранге, не нужны, и учительница Анна Васильевна не будет ругать за то, что не слушает на уроке, а смотрит в окно на сопки.

Дома Торытьев любил играть с Эттокаем — старым вожаком из упряжки отца. А с оленегонной собакой пастуха Энтырультина он никогда не играл. Эттокай большой, лохматый, на него можно садиться верхом — он сильный. А оленегонка злая и всегда отнимала кусочки мяса, которые Торытьев готовил для Эттокая.

Любит собак маленький Торытьев. А еще он любит и возьмет с собой в тундру... Но об этом пока мальчик не решается никому говорить. Если узнает тетя Даша, то будет сильно ругать.

Торытьев гладил котенка, а сам думал о тундре, в которой уже выросла зеленая трава. Вспоминал речку, вода в ней холодная, как лед, а на берегу стоят яранги. Это его дом.

Дверь скрипнула, вошла тетя Даша.

— Кто это у меня там глазками лупает? — с порога заворчала она.

Торытьев съежился в комочек и, прижав к груди котенка, накрылся с головой одеялом.

Тетя Даша долго ходила по комнате, скрипела досками и бурчала. Торытьев лежал не шелохнувшись. Он боялся, что у него отнимут котенка. От страха Торытьев уснул, укрытый с головой одеялом. Мальчику было душно, и он видел страшный сон... Будто снова, как в первый день жизни в интернате, он пошел в тот сарай, где жил неизвестный удивительный зверь. Про этого зверя ему рассказал Какко, сын рыбака. Какко постарше Торытьева, учится во втором классе, и то у него глаза от страха расширились, когда он рассказывал про неизвестного зверя. Вначале Торытьев не поверил ему. Что может быть за зверь, если он не похож на волка, на умкы — медведя, на евражку? А Какко ему возражал:

— Не веришь? Иди посмотри!

Торытьев все же отважился. Он накинул на плечи пальто, добежал до сарайчика, но долго не решался открыть дверь. Когда он в сарайчик вошел, то увидел бочку, перевернутое ведро, кастрюлю и загородку из досок. А в углу на траве кто-то лежал. Трава зашевелилась, и вылез диковинный зверь: ноги короткие, толстые, шерсть белая, уши торчат, а нос... Ну точно как пуговка с двумя дырками! Конечно же, это был самый обыкновенный поросенок. Но Торытьев никогда не видел такого зверя. Торытьев испугался и закричал. На бегу он потерял пальто и шапку. Тетя Даша тогда смеялась над ним.

Торытьев проснулся от встряски. Он открыл глаза и увидел лицо ночной няни.

— Отец за ним приехал, а он все спит,— заворчала она.

Торытьев мигом соскочил с койки и быстро стал одеваться.

Обычно по утрам он долго не мог проснуться. А если и проснется, то лежит в кровати, как будто спит. Лень вылезать из-под теплого одеяла, пол очень холодный, и еще нужно идти умываться в комнату, где тоже холодно.

— А ну, пупсик, по-солдатски оделся, умылся, поел и на службу,— обычно подгоняла Торытьева тетя Даша.

Торытьев совершенно не понимал, как это по-солдатски оделся, умылся, поел и кто такой солдат? И еще, почему умываться по-солдатски, когда можно совсем не умываться? Торытьев даже спросил об этом учительницу. Она засмеялась и сказала, что солдаты — это люди, которые защищают нашу страну от врагов.

Сейчас Торытьев оделся быстро. Его ждал отец. Мальчик выскочил на улицу. Яркие солнечные лучи ударили прямо в глаза и запрыгали, засветились в них. Торытьев зажмурился и с минуту стоял ослепленный. Когда открыл глаза, увидел отца, который шел с учительницей Анной Васильевной от школы.

— Етти... здравствуй! Здравствуй! — радостно крикнул Торытьев и прыгнул с крыльца, побежал навстречу. Торытьеву было трудно бежать, он не успел зашнуровать ботинки, и теперь они спадали.

Недалеко от отца Торытьев споткнулся и чуть не упал в лужу, но сильные руки вовремя подхватили его.

— Куда в лужу бежишь? — вместо приветствия строго сказал отец.— На тебе обувь, которая воды боится.

Он взял сына на руки и поставил на сухое место.

Отец был чем-то недоволен, и это Торытьев почувствовал сразу. Он не стал смеяться, не стал приставать с расспросами, а тоже нахмурился. Торытьев знал, что если отец сердится, к нему лучше не подходить.

Учительница не замечала, что Авье — отец Торытьева — хмурый. Она пригласила его пройти в корпус интерната. Авье молчал. Наверное, ему не хотелось идти, лицо его еще сильнее нахмурилось. Когда они зашли в корпус, учительница стала рассказывать, как дети в этом здании учат уроки, спят, кушают. Этот интернат был первым здесь, в этой далекой тундре. Учительница водила отца с гордостью. Она показала спальни, кухню, пионерскую комна-

ту. Лицо Авье немного просветлело, но по-прежнему он был чем-то недоволен.

Отец остался в коридоре с учительницей, а Торытьев стал собираться в дорогу.

Тетя Даша помогла застегнуть пальто, зашнуровать ботинки, потом она принесла из кухни что-то завернутое в бумажку и сунула ему за пазуху:

— Это гостинец маме.

Затем побежала еще куда-то. Тетя Даша не знала, что у Торытьева мама умерла, когда он был еще совсем маленький. И Торытьев не помнит ее. Гостинец он взял для бабушки, ее он любил, как маму.

Тети Даши долго не было, и Торытьев все это время думал о том, как взять с собой в стойбище котенка.

Как только тетя Даша снова вышла из комнаты, Торытьев побежал к кровати, вытащил из-под одеяла котенка и спрятал его за пазуху, туда, где лежал пакет с гостинцем.

Тетя Даша принесла рукавички, положила их в карман Торытьева.

— Не потеряй,— сказала она.— Будет еще холодно. Да смотри, привези назад, а то я расписалась за них у завхоза.

Отец уже ждал Торытьева на улице.

Торытьев помахал тете Даше рукой (она вышла провожать на крыльцо) и зашагал следом за отцом.

Всю дорогу к реке Авье ни о чем не расспрашивал сына. Шел быстро. Молчал и Торытьев, насилу успевая за ним. Отец и сын спустились с пологого берега и сели в байдару, легкую лодку, обтянутую прочной шкурой лахтака. Авье все молчал, ничего не спрашивал у Торытьева, а когда отплыли далеко от поселка вниз по течению реки, вдруг спросил:

— Вас что, только и учат, как пить, есть, спать да читать книжки? А кто будет пасти оленей вместо стариков?

Авье не смотрел на сына, знал, что тот ничего не сможет ответить, мал еще. Торытьев, не мигая, глядел на отца и не мог понять, ругают его или нет.

— В тундру пастушить никто не вернется. Понравится вам такая жизнь. Работать не захочется.

Авье тяжело вздохнул. Теперь он стал ругать и сына, и тех, кто учится в интернате. А Торытьев стал смотреть на воду, где в волнах лучились солнечные зайчики. Солнечные зайчики гнались за байдарой, появлялись впереди яркие, радостные, не похожие друг на друга.

Солнце высоко стояло в небе. Небо голубое и безоблачное, даже над сопками не было белых облаков. Торытьеву стало жарко в пальто. Но он боялся расстегнуть его. Котенок мог выскочить из-за пазухи и упасть в воду. Чтобы Серенькому не было жарко, Торытьев поджимал живот, и свежий воздух проникал под пальто и холодил грудь.

Вскоре река стала широкая, с моря подул легкий ветерок. По воде побежали маленькие волны, река стала походить на морщинистое лицо тети Даши. Байдару слегка начало качать.

Авье перестал грести веслами. Он велел Торытьеву пересесть на нос байдары, а сам сел на корме и принялся заводить мотор. В устье река глубокая, и можно не бояться, что винт мотора наткнется на мель.

Через несколько минут мотор заработал. Он трещал, как испуганная ворона, треск летел далеко-далеко в тундру. Нос байдары задрался, и она быстро заскользила по реке.

Мальчик повернулся спиной к отцу и потихоньку стал расстегивать пальто. Он боялся, что котенку не хватит воздуха и он задохнется. Серенький вначале шевелился, теперь совсем не двигался.

Торытьев расстегнул две верхние пуговицы и посмотрел на котенка. Тот неожиданно выпрыгнул в байдару и ловко забрался на самый нос.

Отец Торытьева увидел незнакомого зверька в байдаре, ахнул от неожиданности и выпустил руль. Байдару резко швырнуло в сторону. Торытьев от толчка свалился на бок и больно ударился о доску. Когда он поднялся и глянул на нос байдары, Серенького там не было. Слезы выступили на глазах мальчика, и он закричал что есть силы:

— Стой... стой, Авье, Серенький утонул...

Авье никак не мог понять, что за зверь появился на байдаре и почему вдруг сын плачет о нем. Ведь зверь мог укусить.

Торытьев, заливаясь слезами, упал на дно байдары и сквозь слезы кричал, размахивая ногами и руками.

— Серенький утонул... Серенький утонул...

Отец заглушил мотор, подвинулся к сыну:

— Не плачь! — спокойно заговорил отец.— Зверь твой не утонул, а спрятался под брезент. Вон видишь, хвостик торчит.

Торытьев оглянулся и вскрикнул от радости. Хвостик Серенького торчал из-под брезента. Мальчик быстро подполз к брезенту и вытащил котенка.

Торытьев еще изредка всхлипывал и поэтому ничего не мог объяснить отцу. Счастливый, он прижимал к груди котенка, гладил его и заглядывал в круглые кошачьи глаза.

Отец долго сидел возле сына, не решаясь нарушить его тихого восторга. Ему хотелось погладить зверька, но он боялся, что зверек укусит. Раньше Авье таких зверьков не видел.

Вскоре Авье завел мотор, и через полчаса байдара из устья вышла в открытое море. Пахнуло свежим, просоленным ветром. Волны здесь были больше, и байдару сильно качало.

Огромно и необычно здешнее море. В тихие летние дни оно бывает ласковым: в небе солнце, и море как будто спит. Но бывают дни, когда море становится злым. Страш-

но тогда оно. Тяжелые черные тучи спускаются к самой воде. А волны — огромные, неуклюжие, как медведи, наступают на берег. Торытьев видел море злым. Тогда люди всего стойбища стояли на берегу и ждали охотников, но охотники так и не вернулись. Злым море чаще всего бывает осенью, когда с севера начинают дуть ветры. Теперь море спокойно. Небольшие волны бегут, как резвящиеся щенки, но байдара очень легкая, и поэтому ее сильно качает. Торытьев спрятал котенка за пазуху и лег на брезент. На море смотреть он боялся. Солнце нежно пригревало, байдара слегка покачивалась, и Торытьев скоро уснул.

Через час Авье направил байдару в небольшую бухту, на берегу которой стояли два домика. Это перевалочная база. Летом здесь живут рыбаки, ловят рыбу, а зимой остается один сторож.

Байдара причалила к берегу. Авье разбудил сына, дал ему нести небольшой узелок, и они зашагали к домикам.

Встречать их вышли почти все рыбаки.

— Колё мей! — воскликнул удивленно самый старый из них, Каантатко. — Авье привез к нам своего помощника.

Рыбаки поочередно здоровались с отцом Торытьева и так же важно и чинно с ним.

Каждый обязательно что-то спрашивал у Торытьева.

— Как жизнь в поселке? — спросил Тыттегин. (У него сын учится в интернате и всегда получает двойки, его так и зовут «двоечник»).

— Хорошо! — ответил мальчик.

— Жену не нашел себе?

А это Омрыятгыргин. Он совсем еще молодой и хочет жениться на Кергинаут. Она работает в пошивочной мастерской. Об этом в интернате все ребята давно знают.

— Нет! — с достоинством взрослого ответил Торытьев. — Я еще маленький.

Рыбаки засмеялись.

— Переходи к нам в рыболовецкую бригаду. Будешь настоящим рыбаком. Много наловишь рыбы. Ты ведь любишь рыбу?

Это опять Каантатко. Он самый главный здесь. Торытьев слышал от бабушки, что у него давно умер сын и теперь он остался совсем один. Торытьев боялся Каантатко, потому что у него один глаз черный, а второй совсем белый, как яйцо чайки.

— Нет,— ответил Торытьев,— я пастухом буду.

Ответ понравился отцу, он заулыбался, довольный сыном.

Каантатко тоже доволен ответом. Он ласково смотрит одним глазом на мальчика и улыбается.

Каантатко пригласил гостей в дом.

Дом был большой, но состоял из одной комнаты. У стены вместо кровати двухэтажные нары. На них матрацы и одеяла разных цветов. Стол у окна. Окно небольшое, но в него видны сопки, у горизонта фиолетовые, будто измазанные чернилами, и часть моря с темно-зеленой водой. У дома рыбаки варили на костре уху.

Вскоре на стол поставили закопченное ведро. Оно было наполнено кусками розового гольца. Рыбу выложили на железный поднос. От подноса поднимался пар. В доме запахло вареным гольцом.

Каантатко усадил всех за стол. Он поманил к себе Торытьева и хотел взять его на колени. Но Торытьев сказал, что он не маленький. Тогда Каантатко пригласил его сесть рядом, освободив место. Но Торытьев опять отказался. Он сказал, что сядет с отцом, он ведь его единственный помощник.

Торытьев съел три кусочка, выпил кружку наваристого бульона и вылез из-за стола. Серенький стал ворочаться за пазухой. Наверное, он почувствовал запах рыбы, и ему захотелось есть.

Торытьев сел на пол и расстегнул пальто. Серенький

скатился вниз, поднялся и, вытянув передние лапы, потянулся.

Рыбаки за столом перестали есть. Они долго удивленно смотрели на мальчика и на неизвестного зверька. Омрыятгыргин даже ахнул и, вытаращив глаза, перестал жевать. Потом он первым вылез из-за стола и подошел к Торытьеву. За ним потянулись остальные рыбаки. Они загалдели, заспорили, окружив Торытьева с Сереньким.

— Это прирученный детеныш росомахи! — глубокомысленно изрек Омрыятгыргин.— Видите, глаза круглые и лапы с когтями. Смотрите, он может броситься на человека,— предостерегающе заключил он и отодвинулся от Торытьева. Остальные рыбаки тоже попятились.

— Я в жизни не видел такого зверька,— сказал Каантатко,— хотя совсем уже старый. Где ты его поймал, Торытьев?

Торытьев положил перед котенком кусочек рыбы и внимательно смотрел, что будет тот делать. Серенький обнюхал рыбу и стал ее есть.

Теперь Торытьев решил ответить на вопрос.

— У нас в интернате,— заговорил он,— большая кошка живет. Его мамка. Она мурлыкает и молоко пьет.

— Молоко? — переспросил Тыттегин. Лицо у него вытянулось.— Молоко, которым важенка кормит теленка? Тогда его нельзя пускать в стадо, он будет высасывать важенок! — убедительно закончил Тыттегин. Теперь он смотрел на котенка с презрением и злостью.

— Нет, нет! — поторопился отвести подозрение от Серенького Торытьев.— Молоко в банке продается и в воде размешивается.

Рыбаки долго рассматривали котенка, определяя его происхождение, силу и пользу для человека.

Спустя несколько часов отец Торытьева, Авье, заспешил в дорогу. За перевалом, на берегу большой реки, находилось стойбище. От базы рыбаков до яранг два часа ходь-

бы. Вещи аккуратно уложены в нерпичьи мешки, котенок спрятан за пазуху.

Все рыбаки вышли провожать гостей.

Омрыятгыргин сунул в карман пальто Торытьева кусок юколы, шепнув на ухо:

— Это твоему зверьку, дорогой накормишь!

Солнце по-прежнему стояло высоко. Над сопками небо чистое, значит, завтра будет хорошая погода.

Авье шел хоть и медленным, но равномерным шагом. Торытьев почти не отставал, но ему было тяжело так быстро идти. Солнце уже касалось горизонта и стало розовым, когда путники подошли к ярангам.

Жители стойбища вышли встречать отца с сыном. Со всех сторон слышались приветственные возгласы. Отец Торытьева пригласил всех в ярангу на чаепитие. Долго в яранге бригадира горел огонь. Устал чайник кипятить чай, устал гореть огонь, устал виться дым в узкое отверстие вверху яранги, а люди все не расходились: ведь они вели очень важный разговор. Авье рассказал о том, что видел в интернате, и теперь пастухи обдумывали, стоит ли их детям учиться в интернате и стоит ли посылать в поселок остальных ребят.

Торытьев сильно устал с дороги, и никто в яранге не заметил, как он отошел от огня и залез в полог спать. Он вытащил из-за пазухи Серенького, стал гладить его. Котенок замурлыкал. Потом Торытьев вспомнил о гостинце, который дала тетя Даша для бабушки. Но за пазухой пакета не было. И тогда Торытьев стал искать пакет в пологе, но и на шкурах его не было. В чоттагин Торытьев побоялся вылезти: там шел очень важный разговор. Дети не должны вмешиваться в дела взрослых.

Торытьев долго беспокойно ворочался, потом решил выглянуть из полога, посмотреть, не валяется ли пакет в чоттагине. Мальчик приподнял переднюю меховую стену полога. Повеяло холодным воздухом, дымом и запахом чая.

Все сидели молча с блюдцами в руках. Ближе всех к Торытьеву был дедушка Нуваттагин. Он большой и седоволосый. Морщины на его лице глубокие, их очень много, как будто кто-то исчертил лицо дедушки черным карандашом. Волосы у Нуваттагина длинные, до самых плеч. Только дедушка не заплетает их, как бабушка Кли, в косички. Лицо дедушки Торытьеву было хорошо видно. Оно серьезное и задумчивое. Вот он поднял блюдце, отхлебнул чаю и заговорил:

— Ты помнишь, Авье, своего деда, Ятынвата?

— Помню! — отозвался отец Торытьева.— Он был совсем старый.

— Да! Ятынват был самый мудрый человек в стойбище, так считали все пастухи. Наше стойбище летом останавливалось на берегу моря. Мы брали у береговых людей жир и лахтачьи шкуры. Летом к берегу приставали огромные лодки с парусами, большими, как облака. На них приплывали люди с бородами. Привозили чай, сахар, патроны, меняя все это на пушнину. Я тогда был молодой и сильный. Помогал носить большие тюки из лодки. Я мог один нести тюк, когда его еле поднимали двое. Начальник бородатых людей стал предлагать мне пойти к нему работать. Много сахара за это давал, патронов. Мне очень хотелось поплавать на лодке бородатых людей и посмотреть, как они живут на неведомой земле. Пришел к отцу и рассказал ему обо всем. Он тогда так сказал: «Не может промышлять пищу олень так, как нерпа. Для нерпы — море и рыба, для оленя — тундра и ягель. Так и чукча не может жить там, где живут все эти белые бородатые люди». Вот я и остался в стойбище. Не пустил меня тогда мой отец Ятынват.

Долго молчал Нуваттагин, медленно отхлебывая из блюдца чай. Потом снова заговорил:

— Вот так и с Торытьевым. Разве может настоящий чукча учиться чему-нибудь другому, как не пастушескому

делу? Тундра и олени дают ему пищу и одежду. Книжки не научат пасти оленей, этому научит жизнь.

Старик замолчал.

И опять наступила тишина в чоттагине.

— Хорошо,— наконец сказал Авье,— пусть будет по-твоему. Торытьев больше не поедет в поселок.

Дрогнуло сердце у мальчика, заволокли слезы глаза и потекли неудержимо по щекам. Зажал Торытьев рот рукой, чтобы не вскрикнуть, и затрясся, рыдая.

Прижал Торытьев к груди Серенького и уснул с невысохшими слезами на щеках. Он и во сне всхлипывал, ворочался, вздрагивал.

Разговор пастухов в чоттагине затянулся за полночь.

Когда в яранге улеглись все спать, тут-то и произошло...

Торытьев лег спать не в том пологе, где спали отец и дедушка, а в пологе, где спали два пастуха — Каравьев и Энтырультин. Энтырультин, неторопливый, толстый, как морж, спал рядом с Торытьевым. Ночью Энтырультин всегда сильно храпит. Кончик носа слегка движется из стороны в сторону, ноздри то поднимаются, то опускаются.

Торытьев не слышал, как проснулся Серенький, как вылез из-за пазухи и стал точить когти о шкуру. Глаза у Серенького стали большими и светились, как две круглые головешки. Вот котенок плотнее прижался к шкуре, насторожил уши и стал потихоньку подкрадываться к тому месту, где спал Энтырультин.

Вдруг Серенький увидел что-то продолговатое, слегка подрагивающее, сопящее...

Серенький притих, выжидая удобный момент, потом прыгнул, и когтями вцепился в нос Энтырультина.

Пастух с перепугу подумал, что на него напала росомаха, и закричал что есть силы:

— Помогите! На меня напала росомаха... Помогите!

В яранге поднялся невообразимый переполох. Женщи-

ны в соседнем пологе забились в угол, заохали от страха. Дедушка Торытьева выглянул из полога с ружьем, но в спешке забыл зарядить его.

Когда Торытьев проснулся, поднял переднюю стенку полога, то увидел толстого Энтырультина, который с палкой в руках, спотыкаясь и падая, гонялся за Сереньким.

Торытьев что есть силы закричал:

— Серенький... киса... кис... кис...

Котенок пулей заскочил в полог. Вслед за ним появился и Энтырультин с палкой в руках. Он стал искать котенка, перерыл все шкуры. Когда увидел его в руках забившегося в угол Торытьева, то выпучил от удивления глаза.

— Брось его... брось,— испуганно закричал он и замахал руками,— он тебя укусит за нос... Это кусающийся зверь.

Но Торытьев вдруг заплакал, стал звать на помощь отца.

Вскоре в полог залез отец Торытьева и дедушка Нуваттагин. Даже бабушка Кли решила посмотреть на невиданного зверька. Она пришла последней. Бабушке было трудно двигаться, и она кряхтела, как будто несла тяжелую ношу.

Торытьев поставил котенка посреди круга, образованного пастухами. Отец сказал:

— Кошка у русских — это как у нас собака. Только она ловит мышей. В упряжку ее не запрягают.

А дед Нуваттагин сказал:

— Зачем иметь этого зверька? Собака тоже ловит мышей. К тому же у него плохой мех. На зимнюю одежду он не годится.

Энтырультин со злостью добавил:

— Он кусается, и его нужно убить.

Но Торытьев громко крикнул:

— Нет, не дам убивать! — Прижал котенка к лицу.— У нас все ребята его любят. И тетя Даша любит... Он мурлыкает, и с ним можно играть...— сквозь слезы говорил он.

— Ну вот,— недовольно прохрипел дедушка.— У них там даже есть играющие зверьки. Работы больше никакой нет.

А бабушка Кли сказала:

— Пусть ребенок поиграет. Потом некогда будет, вырастет.

Торытьев сидел, забившись в угол, и гладил котенка. Плакать он перестал, но глаза были влажными и красными от слез, как будто он долго сидел в дыму.

Серенький замурлыкал. Все в пологе переглянулись и заулыбались. А бабушка Кли попросила Торытьева дать ей погладить зверька. Потом об этом попросил отец, а затем дедушка. Он даже улыбался и теребил от удивления свою жидкую бородку. Только Энтырультин, совсем обиженный, вылез из полога. У него болел нос.

Утром о ночном происшествии знало все стойбище. К Торытьеву в ярангу приходили пастухи, женщины, чтобы посмотреть котенка. Они гладили его, давая лакомые кусочки мяса, печени, и громко смеялись, когда Серенький бегал за веревочкой, которую таскал за собой Торытьев.

Так Серенький стал любимцем всего стойбища. Только один Энтырультин не хотел забывать обиду.

Долго еще на носу Энтырультина был виден отпечаток зубов Серенького, и пастухи смеялись над ним.

Однажды бабушка Кли сказала Торытьеву, что возьмет его на склон сопки собирать ягоды и коренья. Мальчик обрадовался. Он стал точить нож (вдруг медведь нападет), сушить маленькие чывэрит — чукотские легкие тапочки. И между этими всеми делами рассказывал Серенькому, куда они пойдут с бабушкой и что будут делать.

Рано утром бабушка Кли разбудила Торытьева. Солнце давно взошло над тундрой и стояло уже как раз над той вершиной сопки, куда собирались они идти. Над землей еще висел влажный холодный воздух утра. Роса на траве блестела и похожа была издали на рыбью чешую.

До сопки далеко, Торытьев мог идти быстрей, но бабушка не успевала за ним. Она, согнувшись, заложив за спину руки, ковыляла далеко позади.

— Торытьев... Торытьев,— часто кричала бабушка,— далеко не отходи от меня. Вдруг о кочку споткнешься или попадешь в топкое место, и я не успею ни поднять, ни вытащить тебя.

Но Торытьев не слушался бабушку. Он рвал ягоды, клал их в рот, пробовал кормить Серенького, который выглядывал из-за пазухи, но котенок не ел их. Издали Торытьев кричал бабушке:

— Бабушка, Серенький почему-то ягоды не любит. Может, ему нравятся грибы, но я никак не могу найти их.

Бабушка махала сердито рукой и грозилась вернуть Торытьева в ярангу, если он не будет ее слушаться. Тогда Торытьев останавливался, поджидал бабушку, некоторое время шел с ней рядом и неустанно задавал вопросы:

— А почему, бабушка, трава мокрая, ведь дождя не было?

— Потому что рыбы ночью в озерах, в реках играли и брызги летели во все стороны.

— А почему солнце такое красное и круглое?

— Если бы солнце не было круглым, оно не смогло бы обходить всю землю, а стояло бы на месте. А красное, чтобы грело и лучше выделялось на небе.

— Бабушка, а в школе учительница говорила, что земля тоже круглая.

— Этого никто на свете не знает. Ведь землю нельзя обойти...

— Скажи, бабушка,— не унимался Торытьев,— а...

— А-а-а...— прервала его бабушка Кли,— я уже устала от твоих расспросов.

И тогда Торытьев опять убегал вперед. Бабушка грозилась отправить его в ярангу, он возвращался, и все начиналось сначала.

— Из чего у Серенького глаза? Я заглянул в них, а там солнышко блестит.

До чего же неугомонный внук у бабушки Кли!

— Не знаю, как у этого зверька, а у человека глаза из льдинок. Есть черные льдинки, есть голубые. Есть льдинки горящие, как у собак. Если долго смотреть на солнце, льдинки могут растаять, и человек или зверь ослепнет.

Так часа через полтора бабушка Кли и Торытьев дошли до подножия сопки. Теперь солнце не стояло над ее вершиной и не было красным, как раньше. Оно сияло ярко, больно было смотреть, и забралось высоко в небо.

На склоне сопки очень много шикши — кругленькой, черненькой, как птичьи глазки. Торытьев ягоды собирал горстями и набивал ими рот. Потом медленно жевал. Ягода сочная, а сок холодный и кисленький. Язык, губы, нёбо у Торытьева посинели от ягод, словно он пил чернила.

Бабушка на склоне выкапывала мотыжкой коренья. Коренья квасят и зимой едят с мясом. Согнутая фигура бабушки медленно передвигалась по склону.

Когда Торытьев наелся ягод, то решил помочь бабушке. Он ходил за ней по пятам, но никак не мог найти коренья. Бабушка находила, а он нет. Тогда Торытьев убежал далеко вперед, вдруг увидел под кустом большущий гриб и радостно закричал:

— Смотри, бабушка, во-о-н гриб...— и побежал туда.

Потом Торытьев увидел еще гриб, целые заросли голубики —вкусной синей ягоды, гнездо.

Бабушке надоели возгласы Торытьева. Она выпрямилась и позвала к себе внука. Когда Торытьев подбежал к ней, бабушка Кли строго сказала:

— Хватит бегать, займись делом, собирай коренья.

— А они мне не попадаются,— обиженно ответил Торытьев,— я их искал.

Глаза Торытьева округлились, и он готов был расплакаться от обиды.

Бабушка по-прежнему строго продолжала:

— Когда делают много дел, то ни одно из них хорошо не получается. Ты грибы, ягоды ищешь и за птицами гоняешься. Смотри внимательно под ноги, увидишь тоненький зеленый стебелек с мягкими листочками, осторожно копай вокруг, тут, значит, корень растет.

Потом бабушка велела отпустить котенка побегать, потому что ему, наверное, надоело сидеть за пазухой у Торытьева.

Серенький сначала осторожно ходил по земле, устланной мягким мхом, затем стал бегать и валяться на спине, хватая острыми зубами и когтями сухие листочки и палочки.

Торытьева это очень веселило. Он долго смотрел на игру Серенького и смеялся. Но бабушка сказала, что котенок маленький, ему можно играть, а Торытьев уже большой, ему нужно заняться делом, искать коренья.

Далеко за полдень вернулись бабушка Кли и Торытьев в ярангу. Солнце уже не грело так жарко, как в полдень. Оно медленно спускалось к земле и блекло. Ночью, когда все будут спать, солнце тоже спрячется за море и тоже ляжет спать. И тогда наступит короткая летняя ночь. С неба спустится прохладная голубая дымка. В озерах, реках начнут играть, плескаться рыбы. На землю полетят брызги холодной воды, а утром, когда проснется солнце и выйдет из-за моря, заблестит на траве роса. Обрадуется солнце, что тундра такая красивая, захочет посмотреть на остальную землю. Подымется выше и засмеется радостно: хорошо кругом! От смеха ярче засверкает солнышко. Больше тепла от него пойдет по земле, и земля от этого будет еще прекрасней. А чтобы земля была всегда такой, человек не должен вылавливать всю рыбу из озер и рек, не должен ломать кустарник и топтать сильно траву.

Так рассказывала бабушка Кли Торытьеву о солнце и его доброте.

Вечером, когда у костра все собрались пить чай, Торытьев вспоминал, как собирал с бабушкой корни, как играл с котенком, как гонялся за птичками, как ел сочную, вкусную ягоду.

Дедушка, покряхтывая, пил чай и за все время не проронил ни слова. Лицо его было внешне спокойным, глаза задумчивыми.

— Не мужское это дело ходить собирать коренья. Пусть этим занимаются женщины. Настоящие мужчины должны пасти оленей, охотиться, ловить рыбу. Сейчас стоит жаркая погода, много в тундре гнуса, и твой отец с пастухами угнал оленей к морю. Это очень далеко от яранг. Скоро пойдут дожди, гнуса в тундре будет меньше, и отец подгонит стадо ближе. Тогда он тебя возьмет с собой. А сейчас, чтобы ты не бездельничал и окончательно не превратился в девочку от женской работы, будешь помогать мне ловить рыбу. Нужно заготавливать на зиму юколу.

Теперь каждое утро Торытьев вставал рано и шел с дедушкой к реке. За Сереньким он поручал ухаживать мальчику из соседней яранги. Тымтылен совсем еще маленький.

Вставать рано непривычно для Торытьева. Но дедушка строг, он не дает нежиться в пологе. Дедушка говорит: тот, кто проснувшись, долго лежит без дела, теряет силу, лень вкрадывается в него, и он уже весь день не сможет хорошо работать.

После чаепития они одеваются и идут к реке.

Дедушка ходит быстро. За спиной у него большая корзинка для рыбы. Дедушка низенький, когда он идет, то качается из стороны в сторону, словно идет по волнам. Если Торытьев отстает, то одежда на дедушке почему-то розовеет.

«Это солнце рассматривает дедушку»,— думает Торытьев.

— Дедушка, а если солнца не будет, тогда что? — Нуваттагин поворачивается, морщинистое, сухое лицо его становится хмурым, сердитым.

— Не говори так,— грозит он пальцем.— Злые духи — келе услышат, закроют шкурами солнце, люди умрут.

— А учительница говорила, что никаких злых келе нет!

Дедушка бледнеет, у него начинают дрожать руки, и он дышит хрипло, тяжело.

— Если не было бы злых духов, то люди бы не умирали и олени не погибали, да и не покидало бы пастухов оленное счастье, а охотники не возвращались бы без добычи!

Торытьев больше не спрашивал ничего у дедушки. Нуваттагин долго еще после этого был сердитым. Ругал отца Торытьева: не хотел старик с внуком расставаться.

Река Вээмкай небольшая. Вода в ней чистая, на мелком месте видны камушки: зелененькие, красненькие, черные, белые. В заводях, где река течет медленно, дедушка ставит сети. Каждое утро он вытаскивает их на берег. Сети всегда бывают полны больших серебристых рыб, которые называются гольцами.

Рыбу дедушка и Торытьев выпутывают из сети и бросают далеко на берег. Сеть снова ставят в заводи. Потом дедушка разрезает гольцов вдоль, а Торытьев моет их в воде и кладет в корзину. Наполненную корзину дедушка взваливает на плечи и несет к ярангам, где женщины развешивают рыбу на вешалах. Рыба на солнце вялится. Торытьев всегда остается на берегу охранять оставшуюся рыбу и следить за сетями.

Вначале Торытьев боялся оставаться один, он видел на песчаной косе следы медведя. И Торытьев все ждал, что вот появится сам косолапый. Он не знал, что делать тогда: звать на помощь дедушку Нуваттагина или убегать к ярангам. Но медведь все не появлялся, и вскоре Торытьев перестал бояться.

Прошел целый месяц, а отца со стадом не было. Он уже давно должен был подогнать оленей. В стойбище оленье мясо кончилось, и все питались одной рыбой. Много еще было сахара, сливочного масла, галет, но дедушка говорит, что без оленьего мяса это не пища.

Однажды ночью, когда в яранге все спали, кто-то торопливо откинул рэтэм и вошел внутрь.

Первым проснулся дедушка.

— Етти! — крикнул он в темноту. Старик не знал, кто пришел, но по тому, как торопливо вошел человек, понял, что гость принес недобрую весть.

— И-и,— раздалось протяжно из темноты. Так здоровался только Авье, отец Торытьева.

Старый Нуваттагин дрожащей рукой поднял выше переднюю стену мехового полога и торопливо спросил:

— Что случилось, Авье?

— Беда, много оленей в стаде заболело копыткой.

На улице шел дождь, и было слышно, как капли ударяются о рэтэм. Кажется, что сверху кто-то беспрестанно сыплет на ярангу крупнозернистую крупу.

Нуваттагин вылез из полога. Авье сидел на шкуре и переодевался. Прежняя одежда от дождя сильно промокла, а в некоторых местах расползлась по швам. Вскоре проснулись все, кто спал в яранге.

Проснулся и Торытьев. Он спал вместе с Сереньким и, когда услышал шорохи в чоттагине, сразу же спрятал его. Котенок был очень любопытен, мог выскочить из полога. Торытьев боялся, что в темноте на него кто-нибудь наступит.

В чоттагине кашлял и суетился дедушка. Беда в стаде обеспокоила его.

— Завтра с утра начнем отбивать больных оленей,— после долгого молчания заговорил отец.— Стадо погоним дальше, здесь останется Энтырультин окарауливать больных оленей. Ты помогай ему, Нуваттагин.

— Хорошо,— ответил старик.

Долго еще в пологе совещались дедушка и отец. Беда, неожиданно пришедшая к оленеводам, была причиной всех волнений.

Торытьев тоже не мог заснуть. Он знал, что копытка — это плохая болезнь у оленей. Они хромают, становятся худыми и умирают. Бабушка рассказывала, что раньше у бедных пастухов от копытки погибало много оленей. Люди без оленей голодали и умирали.

Утром, после чаепития, отец и дедушка стали собираться в стадо. Торытьев не отставал от них. Он оделся, закинул через плечо чаат и пошел с мужчинами. Дождь перестал, но небо было хмурое, по нему медленно двигались синие, как дым, тучи. Торытьев так и решил, что это дым ползет по небу. На земле ведь много яранг, много костров, дым от них собирается и, как оленье стадо, кочует по небу.

Стадо от яранг было недалеко. Охранял его Энтырультин с двумя пастухами.

К обеду пастухи закончили отбивку. Основное стадо отец Торытьева с пастухами погнали назад, к морю. А оставшуюся часть оленей остался окарауливать Энтырультин.

Перед уходом Авье сказал Нуваттагину:

— Скоро из поселка придет ветфельдшер, который будет лечить оленей. Ты, Нуваттагин, можешь не шаманить: все равно это ничем не поможет.

Дедушка сильно обиделся на Авье и на пастухов, которые слышали весь разговор и улыбались.

— Наука ваша никуда не годится,— сердито ответил Нуваттагин.— Я всю жизнь без этой науки пас оленей, и меня никогда не покидало счастье.

Сгорбившись и сердито размахивая руками, дедушка пошел в ярангу, даже не посмотрев на уходящее в тундру стадо.

Неделю в стойбище ждали ветфельдшера. А он все не приходил. Олени худели и гибли. Дедушка каждую ночь шептал заклинания, но олени гибли.

Торытьевым никто больше не занимался. Бабушка Кли уже не ходила за кореньями, дедушка не рыбачил.

На Чукотке стояли темные ночи. А утром трава покрывалась не росой, как раньше, а инеем. Трава поэтому была белой, словно ее посыпали мукой.

Торытьев целыми днями играл с Сереньким и вел серьезные разговоры с соседским мальчиком. Тот все время уговаривал оставить котенка. Торытьев хмурил брови, на лбу его собирались морщинки, щеки краснели и надувались.

— Сколько раз говорить тебе,— сердился он,— котенок этот интернатский, и я за него расписался у тети Даши. Это очень важно. Тебе еще не понять. Слишком маленький. Вот пойдешь в школу и узнаешь.

Как-то вечером, когда солнце почти касалось синего горизонта, в стойбище пришел высокий русский парень. Он был в куртке, в длинных резиновых сапогах, и за плечами большущий рюкзак.

Гостя вышли встречать все, кто был в стойбище. Русский парень сказал, что он ветфельдшер, пришел лечить больных оленей и попросил отвести его прямо в стадо.

Провожатым пошел Торытьев. Доро́гой русский парень спросил, почему он не в интернате, ведь начались уже занятия. И тогда Торытьев со слезами рассказал ему весь разговор отца и дедушки, услышанный им в первые дни каникул. Ветфельдшер ничего не сказал Торытьеву, только улыбнулся как-то по особенному тепло, и Торытьев подумал, что он обязательно поможет ему.

Две недели лечил ветфельдшер оленей. Он делал им уколы, смазывал какой-то мазью ноги и забинтовывал их. К великому удивлению дедушки, олени перестали погибать, даже наоборот, стали поправляться.

Вскоре русский парень сказал, что ему пора идти в поселок, что олени теперь выздоровеют и без него.

Утром, перед уходом ветфельдшера, в яранге у костра долго пили чай. Дедушка стал расспрашивать русского парня, кто научил его лечить оленей.

— Есть в окружном центре техникум,— ответил он,— там и учат, как лечить оленей.

— А Торытьев может там учиться? — спросил взволнованный дедушка. У него даже уши задвигались от волнения.

— Может! — сказал ветфельдшер.— Только ему сначала нужно учиться в интернате.

Дедушка повеселел, подлил гостю в кружку чаю, потом ответил:

— Завтра отец Торытьева пригонит стадо к ярангам, и мы будем собирать Торытьева в интернат. Пусть снова едет учиться!

Торытьев от радости готов был захлопать в ладоши, но в руках у него было блюдце с чаем.

Когда Торытьев встретился взглядом с русским парнем, тот, улыбнувшись, подмигнул ему.

Долго у костра пили чай дедушка, гость, Энтырультин, Торытьев и женщины.

Энтырультин покраснел, совсем разомлел от тепла. Глазки его поблескивали. То ли от чая, то ли от хорошего настроения его потянуло на разговоры. И он стал хвастаться перед гостем своей оленегонкой, которая у него будто самая умная, самая быстрая и самая сильная из всех собак.

Энтырультин зачмокал языком, подзывая к себе оленегонку. Она бегала где-то у яранги, но, услышав голос хозяина, заскочила внутрь. И тут случилось неожиданное. Когда Энтырультин бросил собаке кусочек мяса, из полога выскочил взъерошенный Серенький, зашипел, ударил лапой по носу оленегонку, отчего та заскулила и в страхе

забилась в угол яранги. Серенький спокойно взял кусочек мяса и скрылся в пологе.

В яранге разразился такой невообразимый смех, что чуть костер не потух. И больше всех смеялся гость, приговаривая:

— Вот так котенок... мо-ло-дец... А собака, собака-то какая трусливая!

Энтырультин посинел от обиды и злости. Он схватил малахай, выскочил на улицу, процедив сквозь зубы:

— Ну, я ему покажу... я ему дам. Отомщу за себя и за собаку.

Через час ветфельдшер закинул за плечи рюкзак и зашагал в сторону поселка.

Торытьев долго махал ему рукой и стоял у яранги до тех пор, пока высокая фигура парня не скрылась за поворотом.

Ночью Торытьев спал крепко и не слышал, как в полог залез Энтырультин, как поймал котенка, который мяукал жалобно и царапался, как ушел он с Сереньким из яранги.

Утром Торытьев проснулся рано. Он обрадовался, вспомнив, что сегодня отец пригонит стадо, что сегодня будет собираться в интернат, где ему снова дадут книги, а Сереplatform молока.

Торытьев позвал котенка:

— Киса... кис... кис... кис...

В пологе было тихо. Мальчик забеспокоился. Откинул чоогыргин — переднюю меховую стенку. В пологе стало светло. Он опять позвал Серенького, но его не было. Мальчик обыскал все закоулки в яранге. Напрасно! И тогда он разбудил бабушку Кли, дедушку Нуваттагина. Бабушка, кряхтя и постанывая, искала котенка за пологом и тоже не могла найти. Нуваттагин вдруг вспомнил об угрозах Энтырультина, быстро оделся и, отказавшись от чая, пошел в стадо выздоравливающих оленей. Но Энтырультина

там не было. Тогда Нуваттагин подумал, что Энтырультин, может, ловит рыбу. Он побежал к реке, хотя бежать ему было тяжело: дедушка задыхался, а ноги подкашивались. Нуваттагин подбежал к реке, но Энтырультина не было и здесь.

Солнце высоко поднялось над тундрой. Оно внимательно смотрело на землю. Влажная, тяжелая синь утра вздрогнула, покачнулась от этого взгляда. Где-то далеко-далеко, на осенних озерах, закурлыкали длинноногие журавли. Они проснулись и начали собираться в дальнюю дорогу.

Трава была мокрой, но это была не роса, а слезы маленького мальчика — Торытьева.

Старый Аляно и море

В полдень, когда жена еще выкладывала из чемоданов вещи, устраиваясь в гостинице, я не выдержал, убежал к морю.

Был солнечный, на редкость тихий, теплый день. Коротким дождливым ветреным чукотским летом такие дни бывают не часто. Море спокойно. У самого горизонта голубизна воды сливается с голубизной неба. Чайки молчаливо парят над водой. Они белые, будто бумажные, и кажутся невесомыми. Огромное, яркое солнце стоит высоко. Таким необычным оно может быть только на Севере, когда после долгих дождей празднично сияет над землей.

По песчаному пологому берегу я подошел к вельботам. Большие, с облупившейся, разъеденной морем краской, они лежат на боку и будто спят. Оттого что я шел навстречу солнцу, я не заметил у вельботов человека. Приблизившись, узнал в нем Аляно. Он сильно изменился, постарел.

Я посмотрел на Аляно, он — на меня. У старика спокойный, даже равнодушный взгляд, будто он видит меня так часто, что я ему уже надоел. «Рад он мне или нет?» — подумал я.

Аляно держал в руках тонкие длинные ремешки и что-то делал. Он долго молчал, поглощенный работой, а я стоял рядом и смотрел на него, на море и солнце.

— Етти,— наконец тихо поздоровался он.

— Ии! — ответил я.

— Хорошая погода...— добавил старик.

— Да, хорошая,— подтвердил я.

Мы опять надолго замолчали.

Какое голубое сегодня море! Никогда раньше я не видел его таким. Я вдруг вспомнил, как пять лет назад мы охотились с Аляно. Что-то сжалось, заныло в груди: на этом берегу прошли годы юности, здесь познал я тоску о первой любимой.

Незаметно, будто случайно, я поклонился морю. Потом взял горсть мелкой холодной гальки и сдавил ее до боли в ладони.

Старик будто все понял. Он повернулся ко мне, посмотрел внимательно и цепко. Как мне знаком этот взгляд!

— Ты тосковал? — спросил Аляно.

Он склонил набок голову и застыл, ожидая ответа, не спуская с меня глаз.

«Какой у него теперь старческий хриплый голос»,— с грустью подумал я. Раньше Аляно так не сюсюкал, у него был полон рот крепких зубов.

— Ты тосковал? — повторяет свой вопрос старик.

— Нет, что ты, Аляно! — как можно спокойнее отвечаю я.— Некогда было, теперь, правда, немножко больно...

— Нет, ты тосковал, ты тосковал...— упрямо настаивает старик и подступает ко мне, чтобы заглянуть в лицо.

Я успеваю отвернуться. Потом улыбаюсь, как ни в чем не бывало.

— Да нет, с чего бы это!

Старик вдруг нахмурился и отошел в сторону.

— Я думал... Нужно тосковать... сильно нужно тосковать, когда давно не был у моря. Без моря нельзя жить. Если не тоскуешь и можешь без моря, то...— Он безнадежно махнул рукой, и этот взмах был красноречивее слов.

Старик сердито скомкал свои ремешки и бросил их в ближний вельбот.

— Как вы тут все живете? — после короткого молчания спросил я, стараясь сменить тему.

— Мечынкы — ничего! — сухо ответил Аляно и даже бровью не повел.

— Как, Ятынват, Тыржылейвын... все еще охотятся?

— Да! А я давно на пенсии.

Старик опять пристально посмотрел на меня, глаза его сузились, почти закрылись.

— Айванау тоже ходит с охотниками в море. Она стала хорошим охотником,— неожиданно добавил он. И произнес это, как мне показалось, с удовлетворением и гордостью.

Сообщение это удивило меня. Неужели та хрупкая, тоненькая девочка, какой я знал внучку Аляно Айванау, теперь работает наравне с мужчинами? Просто не верилось, но я и виду не подал. Впрочем, что тут не верить? Аляно никогда в жизни никого не обманывал.

— Это хорошо,— сказал я,— она и тогда была смелой.

Старик ничего не ответил. Подошел к вельботу и стал искать там брошенные только что ремни.

— Слушай, Аляно,— заговорил я,— давай на вельботе уйдем в море, к острову Колючину, как уходили раньше.

— Нет! — ответил старик.

— Что— нет? — переспросил я.

— Охоты нет. Льдов нет. Все угнало.

Он махнул рукой в сторону севера, туда, где море было темно-зеленым, с легкой желтизной. Я понял: льды угнало на север, а вместе со льдами ушли и моржи, и нерпы, и лахтаки.

— Тогда просто так уйдем в море, вспомним, как было раньше,— упрашивал я старика. Мне хотелось вновь ощутить азарт охоты, морскую качку, ветер от быстрого движения по воде.

Аляно несколько минут стоял молча. Было видно, что он что-то решает: лицо его округлилось, будто набухло.





— Нет. Просто так — бензина нет!

Лицо его снова вытянулось, сделалось строгим, решительным. Старик упрям, по его глазам видно, что он не хочет идти со мной в море. Нет, его теперь не уговоришь!

Мы опять надолго замолчали. Аляно возился со своими ремешками, а я стоял и смотрел вдаль.

Ветра пока еще нет. Но вот-вот спадет дневное тепло, и к вечеру подует упругий, ладный, крепкий ветерок. Будет играть он с волнами, как молодой парень с девушками, и волны побегут одна за одной к берегу, стройные и похожие друг на друга.

У горизонта виден небольшой остров. Он будто рыба на поверхности моря. Можно различить голову, туловище и даже хвост. Это остров Колючин.

Мне вспоминается, как пять лет назад мы на вельботах уходили охотиться к острову. Вроде давно это было, но живы в памяти те неповторимые дни, переживания перед охотой. Живо в памяти и чувство, которое охватывало меня, когда, покачиваясь и слегка подрагивая, вельбот уходил далеко в открытое море и никто не знал, что нас ждет.

Капризно холодное Чукотское море. Когда не ждешь шторма, он непременно приходит. Дунет ветер такой силы, что дома на берегу задрожат, будто малые дети от испуга, и пойдет гулять по морю огромная волна. Нелегко тем, кого буря застает далеко от берегов.

В злые северные штормы море становилось страшным, разъяренным, и тогда мы отсиживались на берегу. Курили, пили чай до боли в животе, а если был спирт, пили его, играли в карты и ждали, когда успокоится, утихнет постылый шторм.

Затихает, успокаивается море тоже неожиданно. Перестанет дуть ветер, волна уляжется, и не верится, что только недавно все бушевало вокруг.

Наши вельботы всегда готовы к охоте: заправлены бензином моторы, аккуратно уложены снасти.

Если море утихнет ночью, Аляно сразу почувствует это: он спит чутко. Бригадир бежит к моему дому, стучит что есть силы в окно и кричит:

— Поехала, поехала!

Я вскакиваю и, хотя знаю, что в окно стучит Аляно, что ничего страшного не произошло, все равно вначале ничего не соображаю и спросонья обалдело таращу глаза. Потом, разглядев лицо старика, окончательно просыпаюсь, начинаю быстро одеваться и, схватив карабин, выскакиваю на улицу.

По пути забегаю за Ятынватом. Дом его, маленький, неказистый, стоит у самого берега. Лишь когда Ятынват высовывается в дверь, я бросаюсь догонять Аляно: раньше от дома Ятынвата убегать нельзя. Бывало, стучишь, он проснется и кричит: «Беги к вельботу, я одеваюсь». А уйдешь — снова засыпает.

Первым к вельботу всегда подбегает бригадир Аляно и, пока соберутся все охотники, по-хозяйски успевает поправить и осмотреть снасти.

Мы окружаем вельбот, звучит резкая команда Аляно, шуршит под килем галька, и вот уже весело гудит мотор, покачиваясь и рассекая легкую рябь, скользит вельбот. Маневрируя между льдами, идем в сторону острова. У скалистого берега Колючина сбавляем ход. Я становлюсь на носу вельбота и, прижав ко рту руки, кричу изо всех сил:

— Федя... Эге-ге-ге... Федя!

Из избушки, ютящейся у самого обрыва и обставленной вокруг высокими мачтами с множеством проводов, выходит бородатый детина в тапочках и в кожаной меховой куртке. Это Федя — начальник гидрометеостанции. Он машет приветливо рукой, поднимает поблескивающий на солнце рупор и коротко сообщает:

— Три дня, пять — десять, штиль... Счастливой охоты!

Густой бас, усиленный рупором, разносится по всему побережью. Чайки начинают испуганно метаться, как после ружейного выстрела.

Федя скрывается в избушке, а я расшифровываю ответ:

— Три дня ожидается хорошая погода, сила ветра от пяти до десяти метров в секунду, а иногда будет даже совсем тихо.

Мотор увеличивает обороты, вельбот резко убыстряет ход. Мы идем дальше на север, ищем моржей.

Солнце уже поднялось высоко, хотя времени только пять утра. Позади, по бокам, впереди — кругом море, забитое льдом. Огромные причудливые льдины неподвижны. Солнце и соленые морские волны сделали их похожими то на крокодилов, то на белых медведей, то на слонов с опущенными в воду хоботами или на каких-то страшных, доисторических ящеров.

В бригаде нас пятеро. Аляно — бригадир, он же и моторист. Охотится в море давно, но раньше занимался оленеводством.

Их было три брата. После смерти отца стадо не делили, пасли вместе. Зимой, когда олени спокойны, стадо помогали пасти жены, а братья охотились на песца. Раз в два-три года один из них уезжал в факторию, что в устье реки Анадырь, и увозил добытый мех. Путь был нелегок и долог. Братья всегда с нетерпением ждали уехавшего, потому что он должен был привезти сахар, чай и патроны.

Беда пришла неожиданно. Летом, спасаясь от гнуса, по берегу моря двигался огромный косяк диких оленей, и стадо, принадлежавшее братьям, ушло вместе с ними.

Два брата решили возвратиться в верховья рек Кувет и Куэвкунь, туда, где они родились и прожили долгие годы. Аляно остался на берегу.

Когда наступила зима, Аляно не страшен был голод. За лето он успел наловить в реке много рыбы. Но в середине зимы вдруг сразу умерли жена и дочь. Аляно затос-

ковал. Наверное, от тоски тоже умер бы, если бы на его землянку не набрели оленеводы из Амгуэмской долины. Для Аляно нашлась работа: он стал пастухом у богатого хозяина — чаучу.

Пять лет кочевал со стадом по Амгуэмской тундре, а на шестой год нарта со смертью остановилась в их стойбище. Умерли почти все мужчины и женщины. Потом говорили, что в стойбище была «черная болезнь».

Аляно и на этот раз выжил. С тремя уцелевшими женщинами он пошел к морю, теперь единственному кормильцу и спасителю. Дорога была тяжелой, две женщины умерли, третья стала женой Аляно. У моря Аляно повстречал еще таких же, как и он, бедняков.

Спустя семь голодных лютых зим и семь безрадостных весен встретили здесь люди советскую власть. Пришли они в колхоз в порванных меховых брюках, в торбасах с протертыми подошвами. Государство дало колхозу вельботы, карабины, патроны. Вот тогда-то Аляно избрали бригадиром и назначили мотористом.

Ятынват — самый меткий стрелок в нашей бригаде. Он темнолиц, худощав, с тонкой длинной шеей. Ятынват боится шторма. Когда море начинает сильно волноваться и бросать из стороны в сторону вельбот, у Ятынвата синеет лицо, округляются глаза, он хватается за живот и падает на дно вельбота. Ему не стоило бы ходить в море, человек он, как говорят, сухопутный. Но Аляно насильно берет Ятынвата на охоту, потому что он муж его старшей дочери. Старик намерен сделать из него настоящего морского охотника. В сильную качку Аляно зло кричит Ятынвату:

— Встань, встань! Будь мужчиной, смотри на море!

Но Ятынват, обычно послушный, покорный, всегда выполняющий любое приказание Аляно, в такие минуты бывает глух к словам бригадира. После шторма Ятынват становится еще молчаливее и мрачнее, не поднимает глаз,

стесняется смотреть на людей. Аляно каждый раз стыдит его:

— Ты плохой охотник, боишься моря. Дети твои тоже будут бояться моря. Кто будет охотиться?

Боль и отчаяние появляются на лице Аляно. Но в следующий шторм все повторяется сначала.

Тиркылейвын и Рахтынкау — родные братья. Тиркылейвын старше, добродушнее, его нельзя разозлить, расстроить чем-либо. Когда бригадир начинает ругать Тиркылейвына за равнодушие к работе, он блаженно ухмыляется, обнажая крупные желтые зубы. Неточный выстрел и то не обескураживает охотника. Он лишь бурчит себе под нос:

— Хитрый морж убежал от пули? Ну ничего, пуля еще поймает его.

Рахтынкау, как и Тиркылейвын, любит поспать, поесть и попить чаю. Он низкорослый, подвижный, разговорчивый. Все свободное время братья проводят у примуса, варят чай и поглощают чайник за чайником. Они умудряются вскипятить чай даже в сильную качку.

Я сижу на носу вельбота и внимательно смотрю вдаль.

Мы далеко ушли от острова, он почти скрылся в синей дымке. Впереди белая неразбериха льдов. Она как будто уходит в бесконечность.

Как прекрасно северное море: голубая вода, белые льды и солнце. Человека всегда будут радовать эти удивительные краски.

Дело мое не очень уж сложное — загарпунивать раненых моржей. Но удача нашей охоты во многом зависит и от меня. В бригаде я, наверное, самый непостоянный, еще не нашедший себя человек. После школы езжу вот по свету, ищу дело, которому можно было бы посвятить свою жизнь. А дел много, все они хороши, и я не знаю, какому из них отдать предпочтение.

Раньше я работал в оленеводческой бригаде пастухом, и мне нравилась кочевая жизнь. Но однажды к нам

в бригаду приехал зачем-то Аляно и уговорил поохотиться с ним. Старик покорил меня своей любовью к морю, и я теперь, как и он, полюбил нелегкое дело — морскую охоту.

Ятынват сидит недалеко от меня. Он чистит карабин и изредка внимательно смотрит на воду.

Тиркылейвын и Рахтынкау, как всегда, рядом с чайником. На их потных лицах выражение блаженства. Аляно за рулем, внимательно, пристально всматривается в море и умело проводит вельбот по узким проходам между льдинами.

Ятынват первым заметил моржей и поднял руку. Аляно сбавил ход. Вскоре вельбот с замершим мотором почти останавливается. Мы переходим к правому борту. Стрелять не стреляем, ждем, пока моржи подплывут ближе.

Бригадир подал знак. Разорвав тишину, прозвучал первый выстрел. Аляно запустил мотор. Я встал на носу вельбота и приготовил гарпун. Теперь начинается моя работа. Оставлять незагарпуненного моржа, значит, терять добычу — так говорят старые охотники: убитый морж быстро уходит на дно. Раненого, обессиленного, его загарпунивают и только тогда убивают.

Когда морж снова показался над водой, Ятынват успел в него выстрелить. Фонтанчик брызг поднялся за зверем — перелет. Такое с Ятынватом бывает редко. Моржа поглотила зеленоватая морская пучина. Через несколько минут морж снова вынырнет, чтобы набрать воздуха, и тогда гарпун или новый выстрел догонит его. Я напряженно смотрю на воду, рука, в которой держу гарпун, онемела.

Вот вода всколыхнулась, и в десяти метрах от вельбота показалась лоснящаяся темная спина моржа. Я изо всех сил метнул гарпун, железо впилось в тело зверя. Морж опять скрылся в воде, ремень натянулся, но я успел сбросить в воду поплавки — пыгпыги. Теперь морж никуда не уйдет, поплавки не дадут ему глубоко нырять, и мы не потеряем его из виду.

— Молодец, хорошо гарпун бросил! — сказал одобрительно Аляно.

Я улыбнулся — старик редко хвалит.

К вечеру наш вельбот с добычей тяжело шел к берегу.

Тиркылейвын и Рахтынкау уже в который раз успели сварить чай. Они пили его вприкуску с сахаром и болтали, подшучивая друг над другом.

— Я стрельнул,— говорит, улыбаясь во весь рот, Тиркылейвын,— смотрю, а морж дальше поплыл, думаю, ничего, потом поймаю.

Рахтынкау щурит глаза, вытирает капельки пота с редкой бородки.

— Тебе только в свою жену стрелять,— насмешливо говорит он.

— Зачем в жену? — удивляется Тиркылейвын.

— Все равно не попадешь!

— Гы... гы... гы...

Проплывая мимо Колючина, я снова становлюсь на носу вельбота. Федя выходит из избушки и кричит в рупор:

— Как охота?

— Хо-ро-шо... три моржа-а-аа! — надрываясь, сообщаю я.

— Молодцы-ы-ы! — летит над водой в ответ.

Это было пять лет назад. Может быть, если бы не случай, я и поныне охотился бы с Аляно, уходил бы с ним на вельботе далеко в северное море, познавая силу штормов и радость охотничьей удачи.

Однажды я рассказал Аляно о том, что мечтаю загарпунить моржа с такими большими клыками, чтобы видавшие виды поселковые охотники и те удивились бы. Потом отдам клык косторезу Туккаю, чтобы он нарисовал на нем северное море с холодными, вечно кочующими льдами, тундру с синими сопками у горизонта, с тучными оленьими стадами и северное сияние в зимнем небе.

Клык я решил отослать на «материк» Людке с синими глазами, робким доверчивым взглядом и волосами, мягкими, как спящее море. Это ее я вижу по ночам во сне, всегда думаю о ней и мысленно приношу ей в дар каждого загарпуненного моржа.

Долго не приходила удача. Мы исколесили весь залив в поисках большого моржа, о котором я мечтал, и только под конец охотничьего сезона, когда в море стали свирепствовать осенние штормы, счастье улыбнулось мне.

Это был кеглючин — матерый морж. Он зол, яростен и силен. Ходят легенды, что кеглючин в ярости может напасть на лодку охотников. Мы гонялись за моржом полдня и истратили уйму патронов. Была сильная волна, вельбот бросало из стороны в сторону. Долго не мог я загарпунить моржа: он был хитрым, не подпускал близко. Но мы упорно гнались за ним.

Тиркылейвын и Рахтынкау уговаривали бросить эту опасную затею и возвращаться к берегу: у них остался только один чайник воды. Ятынват, скрючившись, сидел на дне вельбота с синим, перекошенным от страха лицом.

Но страсть, упрямство охотника обуяли меня.

— Нет! Нет! Без этого моржа я не вернусь в поселок! — заявил я.

Аляно молчал. По его взгляду, спокойному, твердому, я понимал, что на этот раз он поддерживает меня.

Когда кеглючин поближе подпустил вельбот, я метнул гарпун. Зверь был довольно далеко, но гарпун все-таки попал в цель.

Мы возвращались к берегу, когда море штормило все сильнее и сильнее. Волны, крупные, мощные, зеленоватые от злости, медленно поднимали вельбот высоко-высоко и потом резко швыряли вниз, как в пропасть. Замирало сердце, и становилось жутко.

Тяжелые тучи ползли над самой водой, как будто хоте-

ли слизать вельбот или унести его в кромешную штормовую темь.

Ятынват плашмя лежал на дне вельбота и, ухватившись руками за живот, глухо стонал. Тиркылейвын и Рахтынкау сидели бледные, с переполненными ужасом глазами. Чай в такой шторм немыслимо сварить, но братья все равно возились с примусом.

Только Аляно был внешне спокоен и подбадривал всех, говоря, что если мотор не сдаст, то до берега доберемся.

Я ругал себя за рискованную затею, и в то же время в душе светилась радость оттого, что все-таки желанный морж был убит!

Мотор заглох, и нас еще целые сутки швыряло в море, но мы добрались до берега. На берегу собрался весь поселок. Никто не обратил внимания на убитого моржа, все смотрели на нас, радуясь нашему возвращению.

Море еще долго штормило. Мы отсиживались по домам, пили чай и занимались чем придется.

Однажды ко мне в дом пришла Айванау — дочь Ятынвата, внучка Аляно. Айванау была в нарядном темно-вишневом платье, которое очень шло к ее круглому пухленькому, по-детски милому лицу. Волосы, длинные, темные, спускались на плечи. Девушке нельзя было дать больше шестнадцати-семнадцати лет. Она долго стояла в дверях, молча, сосредоточенно смотрела на меня, будто решала, доверить мне какую-то большую тайну или нет. Этим она мне напоминала своего деда. Тот точно так же долго стоит молча, когда собирается сообщить что-то очень важное.

Наконец она прошла к столу, села. Я налил в кружку чай, пододвинул сахар, печенье, галеты, масло.

Айванау опять посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, неожиданно смутилась, покраснела и опустила глаза.

— Тебя, наверное, отец за чем-нибудь прислал? — спросил я.

— Нет,— сказала она тихо.

— Может, дед Аляно?

Она отрицательно покачала головой.

«Вот живем в одном небольшом поселке,— думал я,— и так редко видимся. Собственно, чему удивляться? Когда я работал в тундре, то в поселок наведывался очень редко. Теперь вот все время пропадаю в море, а когда выпадают свободные дни, из-за плохой погоды не хочется выходить на улицу. А девушки подрастают. Вот и Айванау ничего, симпатичная стала...» И я бесцеремонно принялся рассматривать Айванау. Девушка, наверное, угадала мои мысли, и лицо ее опять слегка зарделось.

— Мне уже восемнадцать лет,— вдруг неестественно громко сказала Айванау,— и я могу выйти замуж.

Я открыл рот от удивления.

Айванау встала из-за стола, и мне показалось, будто она сделалась еще тоньше и стройнее. Она не смотрела на меня, и голос ее теперь был спокойным:

— Все говорят, что ты серьезный, и дед говорит то же. Я всегда просыпаюсь, когда ты стучишь и зовешь отца, смотрю в окно, когда бежишь к морю. Ты любишь море, и я люблю его. И вот я пришла сказать, что если мы будем вместе, то нам будет хорошо.

Она взглянула на меня требовательно, строго, и я совсем стушевался, не зная, что ответить.

Айванау села и стала пить чай маленькими глотками.

— Отец знает, что ты ко мне пошла? — наконец спросил я.

— Нет!

— А Аляно?

— Да!

— И что он сказал?

— Сказал, что у нас дети будут хорошими охотниками и что тогда моему отцу Ятынвату можно будет не ходить в море.

«Может, действительно жениться на Айванау и остаться здесь навсегда? — подумал я.— У нас вырастут дети и станут охотниками».

Я поднялся из-за стола и начал медленно ходить по комнате. Я ходил и думал. Разные мысли и чувства боролись во мне. Нет, нельзя давать ответ, подчиняясь моменту. Выбор должно сделать сердце.

Я попросил Айванау подождать меня в доме, а сам пошел к морю. Вернулся я на рассвете. Айванау спала, сидя за столом. Когда хлопнула дверь, она вздрогнула, проснулась и вопросительно посмотрела на меня. Я ничего не сказал, вытащил чемодан и стал собирать вещи. Большой желтый клык кеглючина не вмещался в чемодан. Пришлось завернуть его в простыню и привязать к чемодану.

Айванау долго, не отрываясь, смотрела на меня, лицо ее покрылось бледностью.

— Когда улетит самолет, я забуду тебя,— сказала она и ушла.

...Мы со старым Аляно стоим у моря и смотрим вдаль. «Какой теперь стала Айванау? — думаю я.— Отчаянная девчонка: не каждая сможет охотиться с мужчинами в море. Пожалуй, она одна такая на всю Чукотку. Интересно, вышла она замуж или нет?» Я хотел спросить об этом старика, но что-то удерживало меня.

По-прежнему тихо, тепло. Море спокойно, величественно, ясны над ним летние небесные дали.

Солнечные зайчики танцуют на волнах. Их много, и кажется, что море покрыто серебристой чешуей.

— Ты совсем приехал? — спрашивает Аляно.

— Нет, в отпуск.

Старик нахмурился.

— Эта девушка, что с тобой приехала, твоя жена?

— Да.

— Ты привез ее, чтобы показать море?

— Ии... да!

Аляно нахмурился, постоял еще немного, бросил в вельбот ремешки, которые все время вертел в руках, и медленно пошел к поселку. Отойдя шагов десять, старик остановился и сказал внятно:

— Ты не стал настоящим охотником!

В душе у меня будто что-то оборвалось. А старик безжалостно продолжал:

— Настоящий охотник так не делает: он всегда живет у моря.

И Аляно не спеша пошел дальше.

Поздно под вечер я вернулся в гостиницу, разбудил жену и сказал, что мы, наверное, уедем завтра назад в город. Синие глаза вопросительно и удивленно посмотрели на меня.

Белым-бело

Вечером, перед закатом солнца, было еще тепло. Малаков покормил собак, убрал с вешал рыбу и лег спать со спокойной душой, уверенный в том, что утром будет хорошая погода, потому что ал и чист закат и собаки не скулят, не мнутся, как это всегда с ними бывает перед непогодой. Даже застуженная нога сегодня не ноет.

Ночью спал крепко и не слышал, как подул ветер, как застучал тревожно лист жести на крыше землянки, как собаки заскулили жалобно, сворачиваясь от холода в клубок.

Проснулся, по обыкновению, рано, полежал с часок в темноте, надеясь снова уснуть, но спать не хотелось. Тогда он поднялся и побрел к светлевшему окну, невзначай наступив на хвост Беляку, здоровому белому псу, что всегда лежит у его кровати. Тот взвизгнул, отскочил прочь, налетел на табуретку и опрокинул ее.

— Фу... будь ты неладен! — заворчал Малаков и стал шарить по столу, искать спички. Но, как назло, коробок куда-то запропастился. Он невзначай глянул в окно и ахнул, увидев сквозь мутное стекло снег.

Не зажигая огня, стал, торопясь, одеваться. Долго в темноте не мог найти сапоги. Пол был холодный, у Малакова замерзли ноги. Наконец он обулся, накинул на плечи ватник и вышел на улицу.

Ударило холодной сырой свежестью, он вдохнул ее полной грудью, поперхнулся, закашлял.

Порылся в карманах, нашел сигареты, сунул одну в рот и стал искать спички, но их в карманах не было. Пришлось положить сигарету назад.

— От напасть-то...— пробурчал он.

Собаки, услышав голос хозяина, заскулили, завиляли хвостами.

— Ну, чего, чего... хватит! — сказал Малаков, подходя к ним.— Вот разобрало вас!

Он внимательно осмотрел каждого пса, поправил на некоторых сбившиеся ошейники, так же внимательно осмотрел черные проталины на земле, где лежали собаки, и определил, что снега выпало совсем мало.

Светало. На востоке, там, где сопки гряда за грядой уходят к горизонту, а дальше идут высокие горы, которых теперь из-за темноты еще не видно, небо посветлело. Седое, беззвездное, оно, казалось, повисло над самой землей и было одного с ней цвета. Холодный воздух пощипывал нос. Пахло снегом и еще чем-то прелым, то ли прелым болотом, то ли прелой травой.

— Эхма! — заговорил Малаков, потрепав большого пятнистого пса за ухом.— Вот и зима подвалила, ядреный ее корень!

Пес в нетерпении перебирал лапами, повизгивая, вилял хвостом и все время старался лизнуть руку хозяина.

— Что, Пират, голод не тетка? Ну потерпи, потерпи, сейчас заварю похлебку.

Он вернулся в землянку, достал из деревянного сундука завернутые в целлофановый мешочек спички, решив днем непременно отыскать затерявшийся коробок, зажег керосиновую лампу с почерневшим, закопченным стеклом и стал растапливать печь. Похлебку для собак он варил в большом чугунном котле. В кипящую воду сначала бросал восемь кусков мяса, строго по числу собак в упряжке. Беляка не брал в расчет, потому что он еще молод, не был в упряжке и питался остатками с его, Малакова, хозяйско-

го стола. Потом засыпа́л в котел овсянку или другую крупу. Летом Малаков кормил собак вареной олениной, той, что отпускал колхоз для подкормки песца. Оленина подпорчена и неприятно пахнет, особенно когда ее варишь. Поэтому он и жжет всегда костер на улице, хотя нужна уйма дров, а ходить за ними приходится к самому морю. Но сегодня сыро, костер не разожжешь.

Через два часа похлебка была готова. Малаков раскрыл настежь двери и вышел. Уже совсем рассвело. Он поразился, как все изменилось со вчерашнего дня. Казалось, ничего и не произошло, только снег выпал, а, поди ж ты, какие перемены: куда ни посмотришь, кругом белым-бело... Белеют остроконечные сопки, небо тоже как будто белое, только голубеет вода в озере и реке.

Солнце взошло, и теперь там, на востоке, оно тускло светит в седой мгле, точно фара машины в снежной круговерти пурги. Покой и тишина кругом. Слышно только, как море шумит. На рассвете, когда он выходил из землянки, шума моря почему-то не было слышно. Теперь оно шумит размеренно и тревожно.

Он стоял раздетый, без шапки у дверей землянки и смотрел вдаль на заснеженную тундру. Повизгивали голодные собаки на привязи, крутился, ластился у ног Беляк, а Малаков, казалось, ничего не видел и не слышал.

Очнулся от того, что Беляк не выдержал невнимания, прыгнул, уперся передними лапами ему в грудь и попытался лизнуть в лицо.

— Фу, будь ты неладен!

Малаков оттолкнул от себя пса, заторопился в землянку. Похлебка остыла. Нужно покормить собак да поесть чего-нибудь самому.

Через час, а может, два, времени Малаков не замечал, потому что часы на стене еще с весны остановились, он управился с делами и, не торопясь, пошел к морю за дро-

вами. Идти до моря километр, а то и два. Стоит перевалить через небольшой перевал, и предстанет оно перед тобой огромное, неугомонное, серое.

Который раз идет Малаков по этой дороге за дровами. На сотни километров вокруг ни одного деревца, а от чахлого кустарника, стелящегося, точно повилика, в лощинах на берегу рек, проку мало. Разве это дрова? Пыхнут порохом — и все, ни жара тебе, ни тепла. Вот и ходит он к морю, где на берегу валяются бревна, доски, щепки. Море щедрое, столько хламу выбрасывает — жги сколько хочешь. Он запасается топливом летом, ибо зимой все будет лежать под толстым слоем твердого снега.

Малаков идет медленно, не спешит, да и куда бежать-то, успеется. Годы уж не те. Бывало, поднимался на этот перевал — и ни усталости тебе, ни одышки. Правда, Малаков и сейчас здоров, хоть возраст вполне серьезный — пятьдесят пять. Но быстрота не та, одышка появилась. По-прежнему таскает по две вязанки дров, но от моря до землянки доходит не за час, а за полтора, а то и за два, с долгими остановками — перекурами.

Давно, лет тридцать пять назад, зеленым мальчишкой по вербовке приехал он на Чукотку. Направили в колхоз охотником. Вот с тех пор и живет на берегу этого холодного шумного моря. Сколько времени-то прошло, сколько зим и весен пролетело! Которое уж лето изо дня в день он вот так ходит за дровами к морю, ловит рыбу, разносит подкормку для песцов.

Молодым был, в поселок частенько наведывался, зимой на собачках, летом по берегу пешком. Теперь никуда не тянет, давно с людьми не говорил, засиделся, дела все, дела. То рыбы наловить нужно для собачек и для себя, то юколы навялить для оленеводов, дровами вот запастись на зиму, капканы отремонтировать, подкормку по побережью надо разбрасывать, чтобы песец дальше в глубь тундры не уходил, да мало ли еще работы! Бывало, пожи-

вет Малаков на участке месяца три-четыре, и невмоготу станет. Засосет, заноет что-то внутри, хоть криком кричи. Запряжет собачек и... ой-ля-ля,— только ветер в ушах свистит. Теперь поостыло, улеглось, успокоилось все. Чудна у человека жизнь! Вроде живешь незаметно, прожил день — и слава богу. А как оглянешься назад, и оторопь возьмет — сколько воды утекло.

К полудню потеплел воздух. Как будто уж и не пахнет морозом и зимой. Он, Малаков, сразу заметил эту перемену. И, когда поднялся на вершину перевала, откуда было видно море и низина тундры, остановился. Медленно, устало море катило черные волны. Тяжелые снеговые облака висели так низко, что почти касались воды. Дали, бесконечного морского горизонта не было: в километре, а может даже и ближе, вода исчезала за белой стеной застывших облаков.

Над долиной реки Ныгчеквеем, на берегу которой стояла землянка, облака поднялись выше, и теперь низину видно далеко-далеко, до самых гор.

Снег начал понемногу таять. Это Малаков заметил, посмотрев себе под ноги. Кирзовые сапоги, тщательно промазанные жиром, были влажными ниже голенища, точно он переходил ручей вброд.

Он стоял на вершине перевала несколько минут, и, когда собрался идти дальше, вдруг краешек солнца выглянул из-за облаков и произошло чудо. Тундра вместе с сопками, белыми берегами и голубой, причудливо извивающейся, впадающей в море речкой засияла, заискрилась. И было больно смотреть на эту светящуюся, с серебряными отблесками белизну, но он смотрел и не мог оторвать взгляда.

За долгую тридцатилетнюю жизнь здесь, у моря, в долине реки Ныгчеквеем, десятки, сотни раз видел он снегопад, это белое свечение, и только теперь оно показалось ему чудом. Он снял шапку, стал мять ее в руках, тяжело, прерывисто дыша. А солнце вдруг стало меркнуть, и не то

от солнца, не то от моря по сопкам побежала большая тень. Она скользила легко и быстро, будто это птица огромная летит, и вот уже не стало чуда, посерела, сникла, нахмурилась тундра.

«Вот ведь какие чудеса на свете бывают! Живешь себе, живешь и только под старость увидишь красоту, мимо которой раньше ходил и не замечал».

Малаков, не торопясь, стал спускаться к воде, ступая осторожно, потому что на крутом берегу было скользко. Беляк уже бегал по песчаной отмели, принюхиваясь к каждому выброшенному морем предмету. Изредка пес посматривал в сторону хозяина и, увидев его крупную фигуру, повизгивая, махал хвостом.

Был отлив, вода ушла далеко, но море штормило, и волны, выскочив на песчаный берег, добегали почти до самой прибойной отметины. Малаков спустился к воде, нашел ящик, смахнул с него снег, сел, достал сигарету и закурил. Море дышало свежестью, упруго, степенно, пахло солью, водорослями и снегом.

Легко было на душе у охотника. Спокойная, мудрая, радостная сопричастность к красоте земной навевала на него эту легкость. Приятно было сидеть, приятно было смотреть на море, на небо, на снег и на бегающего по берегу здоровенного белого пса.

Через полчаса, выкурив сигарету, Малаков поднялся и увидел, как что-то белое мелькнуло недалеко от берега и тут же скрылось в воде. Он подождал, пока волна на своем гребне снова приподняла странный предмет, и рассмотрел его. Это был небольшой, наполовину белый, наполовину красный спасательный круг. Когда круг прибило к берегу, Малаков зашел по щиколотку в воду и вытащил его. Круг был совершенно новым: на нем еще не потрескалась, не облупилась краска. Значит, его недавно сбросили с катера или парохода. Большими буквами на спасательном круге было написано слово «Ольга».

Радостное, легкое чувство, недавно владевшее им, исчезло, и стало немного не по себе от мысли, что, может, теперь, вот в эту минуту, когда он преспокойно стоит на твердой земле, там, в холодном море, что-то произошло. Может, там тонут люди...

Дрова он собирал нехотя, медленно, часто посматривал на воду и надолго задержался у моря. И хоть вязанку собрал всего одну, совсем небольшую, но короткие доски, бруски отбирал так тщательно, будто они ему были нужны не для топлива.

Когда Малаков поднялся на вершину перевала, он сбросил с плеч вязанку, сел на нее и закурил. Он смотрел на море и думал, что, наверное, любимую человека, который дал имя потерпевшему бедствие судну, звали Ольгой.

Была и у него Ольга. Сколько лет-то ему тогда было? Кажется, двадцать пять.

Помнится, затосковал летом о людях, невмоготу стало, бросил все, даже собак не покормил как следует, не отпустил с привязи и побежал по берегу моря в поселок. Больше суток ушло на этот путь.

Домой пришел ночью, открыл ключом двухкомнатную свою квартиру, включил свет, стал переодеваться и слышит из спальни испуганный женский голос:

— Кто там?!

— Я, хозяин!

— Какой хозяин?

— Обыкновенный, хозяин этого дома.

— А, извините, я сейчас надену халат и выйду.

Она была маленького роста, пухленькая, с круглым, не очень красивым, но добрым и нежным лицом. Оказывается, Ольга приехала в колхоз проверять бухгалтерский учет. Гостиницы в поселке не было, вот ее и поселили здесь.

Прошло столько времени, но перед ним вдруг проплыло все, как в кино, зримо, почти осязаемо. Вспомнились ее глаза, большие и добрые, вспомнил, какие у нее были

длинные русые косы, какие горячие и мягкие руки. Как она все боялась, что об их отношениях узнают люди, узнает начальство на работе, какой будет позор и стыд, как она бледнела от этой мысли, какими сухими безвольными становились ее губы.

— Господи, что ж это со мной такое, что я делаю, у меня же муж есть? — шептала она, плакала и целовала его.

Через несколько дней она пришла днем из конторы и говорит:

— Молчун ты, молчишь и молчишь, одичал в тундре своей, сказал бы что-нибудь. Я решила, если скажешь, то останусь совсем.

Он смотрел на нее, но все время думал о землянке у моря, о собаках, которых оставил голодными на привязи, и не мог толком понять, о чем она говорит. Слушал, а самому чудилось, как его собаки скулят, как глядят жалобно на землянку и ждут, когда он выйдет и покормит их.

— Молчун ты,— повторила она и прижалась к нему.

— Собак нужно покормить, голодные поди...

— Покорми,— спокойно ответила она, видно, не знала, что собак кормить нужно идти так далеко.

Он ушел и вернулся назад только через неделю, вместе со всеми своими псами, а ее уже не было, уехала, не дождалась.

Пошел в правление, хотел узнать, что и как, куда бухгалтерша уехала, да постеснялся, промолчал. Полмесяца жил в поселке, все ждал, авось вернется. Председатель уж стал смотреть на него косо. Говорить-то ничего не говорил, а смотрел косо,— как-никак охотучасток был оставлен без присмотра.

На другой год снова приезжал в поселок и ждал ее и на следующий год тоже.

Малаков поднялся, взвалил на себя вязанку и пошел. Снег растаял наполовину. Сырой была земля, сырым был воздух. Облака все плыли куда-то, плыли неуклюже, тяже-

ло, точно несли на себе непосильную ношу. Сапоги у него промокли, и ногам стало холодно.

Сколько раз Малаков вспоминал прошлое, Оленьку, сколько раз корил себя. Да что корить, разве что теперь изменишь?

На берегу реки, недалеко от землянки, охотник снова сел отдохнуть. Достал сигареты, закурил.

Раньше почему-то не приходили в голову мысли, что жизнь так быстра, так скоротечна. Жил себе и жил. А теперь, когда уж далеко за пятьдесят, невольно спрашиваешь себя: «А не зря ли прожита жизнь?»

Свою жизнь здесь он давно принимает как необходимость и для самого себя, и для колхоза, а значит, и для государства. Молодежь теперь не хочет жить далеко от поселка, где есть клуб, магазин, в домах водяное отопление, водопровод, бетонные тротуары, телефон и хорошие заработки. Стариков охотников раз-два — и обчелся. Так кому промышлять пушнину? Пока здоров, пока есть силы, надо еще охотиться, да и привык за тридцать-то с лишним лет.

Как-то зимой, уж лет шесть прошло с тех пор, поехал он в поселок за продуктами. Зашел к председателю. Тот посмотрел на него и спрашивает:

— И ты вместе с ними заодно? — А сам даже в лице изменился.

— С кем это? — не понял Малаков.

— Да не прикидывайся! Козлов и Самойлов твои дружки. Вот, полюбуйся, заявление написали, уходят из колхоза на стройку, на заработки их потянуло. Видите ли, песец плохо идет, никаких гарантий у них нет. Чуть прижало, так они как крысы с корабля... И ты туда. Ну бегите, бегите все! Не заплачем.— Глаза у самого горят, волосы растрепались.

Поднялся молча Малаков и вышел из кабинета. Все равно не докажешь разгневанному начальству, что не слы-

шал об этих заявлениях, что Козлов и Самойлов ему вовсе не дружки.

Вечером председатель сам пришел к Малакову, извинился, мол, без всякого дела, сгоряча накричал. В тот день после разговора с председателем Малакову как-то полнее открылся смысл слова «необходимость»...

Солнце еще раз вдруг выглянуло из-за облаков, выглянуло ненадолго, озарив снега, облака и голубую речку. Теплая, тягучая, густая сырость, заполнившая пространство между землей и небом, дрогнула, посветлела, рассеялась. Воздух стал суше и легче. Он удивился этой мгновенной перемене, поднялся на ноги и снял шапку. Какой радостью отозвалась в нем эта новая солнечная улыбка!

Но вот уж от моря побежала огромная, на всю долину, тень, меняя цвет снега, воды и облаков. Малаков оглянулся, чтобы посмотреть, из чего родилась эта тень. С вершины перевала медленно, неуклюже двигалось сплошное белое облако. Это шел с моря густой обложной туман.

Малаков заспешил к землянке. Нужно было снять с вешал юколу да сходить к реке и проверить в заводи выставленные еще вчера сети.

У входа Малаков сбросил с плеч вязанку дров и подошел к собакам. Они виляли хвостами, обнюхивали одежду, лизали руки, сапоги и дружно, ласково, нетерпеливо скулили.

— Ну, чего, чего? Вот разобрало вас! — говорил он растроганно.

Рыбу Малаков снял с вешал быстро — ее было совсем немного. Юколы насушил и навялил он еще в начале лета, когда стояли погожие дни. Осталось у него несколько десятков недосушенных гольцов,— вот и возится теперь с ними.

Отыскав жестяной ящик из-под галет, приспособленный для переноски рыбы, Малаков, не торопясь, пошел по тропинке к реке. Тропинка была хорошо утоптана, но очень





извилистая и узкая. Она, будто веревка, огибая каждую кочку, каждый кустик, тянулась к реке.

Нычгквеем — речка быстрая и чистая. Кроме хариуса, здесь никакая рыба больше не водится. Правда, в начале лета в реку заходит метать икру кета, а осенью голец, но ранней весной мальки кеты и голец уходят в море. Они как перелетные птицы: отыкрились — и поминай как звали. Хариус — речная рыба, в море не уходит, нежная, вкусная, но хлопот с ней много: чешуя плотная, ножом скоблишь, скоблишь...

Еще с бугра Малаков заметил, что поплавки одной сетки скрылись в воде, поплавки второй почти все оставались на поверхности. Рыбы в сетке было немного, но на уху, да и угостить собак хватит. Через месяц-другой пойдет голец, вот тогда лови, не зевай.

Малаков собрал в жестяной ящик рыбу, поставил сеть опять в заводь и присел на валун покурить.

Туман подступил уже совсем близко. Узкой полосой он полз над самой рекой вверх, против течения, и вслед за этой полоской метрах в ста тянулась высокая белая стена. Тихо, сонливо вокруг, нет ветра, не слышно шума реки. Густой туман поглотил все земные шумы.

«Курить больно много стал, поди легкие черные все. Пора к людям, надо поговорить, передохнуть малость, эдак совсем одичаешь»,— подумал Малаков и тяжело вздохнул. Струйка сизого дыма выпорхнула из его рта.— «Надо к людям, надо среди людей пожить...»

Он старался убедить себя, что ему нужно идти к людям, что он истосковался по их голосам, по их лицам, но желания идти в поселок не было. «Засиделся или совсем состарился? — спрашивал себя Малаков.— Не хочется, а я вот возьму да пойду!» Он решительно поднялся, взвалил на плечо ящик с рыбой и зашагал к землянке.

Дорогой Малаков все время твердил себе, что обязательно пойдет в поселок, что, может, все еще и изменится

в его жизни. Но чем ближе подходил он к землянке, тем меньше был уверен в этом.

Охотник вошел в землянку. От тумана и здесь было темно. Он зажег керосиновую лампу, поставил на огонь чайник.

Через час, напившись чаю, Малаков вышел на улицу. Туман стал таким густым, таким белым, будто все вокруг: воздух, земля, небо — было в снегу. Он от роду ничего не видел подобного: кругом белым-бело, будто в сказке. Удивительная, странно щемящая радость запела в нем, и, как утром, он сказал громко:

— Чудно, ядреный корень... Такое тебе!

Он стоял у землянки и глубоко дышал туманом, пахнущим морем. «Чудно, сколько туманов пережил, а вот такой красоты не видел... А может, и видел, да за душу не брала?»

Он смотрел на туман и, как мальчишка, радовался неизвестно чему. Что-то произошло в эту минуту в его сознании. Он не смог бы объяснить свое состояние, но чувствовал, что никогда раньше не было у него так до слез хорошо, так легко на душе. Какая-то необычная доброта заполнила ее.

Малаков подошел к баньке, маленькой, сделанной из бревен, наполовину врытой в землю, откинул засов и вошел внутрь. Пахнуло затхлой сыростью, плесенью. Ему неожиданно захотелось помыться в бане, да так захотелось, что даже тело охватил зуд. Долго не разгоралась печь, дымила, дымила, потом дрова ярко вспыхнули, и печь загудела, будто паровоз.

Он взял ведра, натаскал воды, подождал, пока из бани вытянет весь дым, и закрыл ее пологней. В землянке долго рылся в сундуке, искал чистое белье, потом завязал все в узелок и пошел мыться.

Печь, сложенная из булыжника, дышала жаром, Малаков плеснул в нее ковш воды, и баньку заполнил сухой

огненный пар. Малаков чесал густую, с сединами бороду, хлестал себя веником, охал, стонал, нещадно терся мочалкой и, уже когда стало темно от жара в глазах, облился холодной водой, потом обтерся полотенцем, надел все чистое и, шатаясь, вышел на улицу.

Темнело, но туман был все так же густ и удивительно бел. Малаков постоял на улице, отдышался на свежем воздухе и вошел в землянку. Было так светло на душе. Не разжигая огня, он разделся, улыбаясь неизвестно чему, лег в постель и уснул тотчас, как только положил голову на подушку. Снились ему какие-то необычные, белые-белые сны: будто он сидит на каком-то острове, а кругом белым-бело...

И Малаков улыбался во сне.

Прощание со стойбищем

Сегодня выдался хороший день. С утра слегка подморозило, и иней, выпавший ночью на вершины сопок, не тает. Небо почти безоблачное, но там, у горизонта, где находится море, появились тучи.

Старый бригадир Аканто, приземистый, седоголовый, стоит на холме, посматривает в сторону туч и решает, что будет: дождь или же снег? Если морозец простоит до вечера, выпадет снег, если нет — будет дождь.

Далеко по перевалу в сторону севера уходят два вездехода. Гул их моторов, раскатистый, резкий, еще хорошо слышен на холме. Аканто старается не смотреть на вездеходы.

Постепенно гул начинает стихать: это машины перевалили через вершину.

Старый бригадир медленно ходит по вершине холма. Площадка большая, хорошо утоптанная, на ней нет ни кочек, ни ямок, ни травы. Многие годы здесь летом стояли яранги его, Аканто, бригады. Еще сегодня ранним утром стояла здесь яранга, но теперь и ее нет. Она, как и две другие, была разобрана, сложена вместе со всей домашней утварью в вездеходы и отправлена на другое место.

Гул машин стал уж совсем неразличимым. Аканто остановился, снял малахай и прислушался. Только легкий треск доносился с севера, точно там кто-то осторожно ломал кустарник.

Через несколько минут и треск прекратился, стало совсем тихо. Наверно, вездеходы спустились с перевала и зашли за небольшую сопку.

Аканто надел малахай и опять стал кружить по площадке. У места, где недавно стояла яранга, он остановился. Здесь лежал дерн, валялись камни, которыми приваливали снизу рэтэм, даже зола от костра еще сохранилась. Ветер был не сильным и потому не успел развеять ее по тундре.

«Совсем недавно,— подумал старик,— на этом месте горел костер, варилось мясо, сушилась пастушеская одежда, сидели и пили чай мужчины, суетились женщины, а теперь вот осталась одна зола, осталось пустое место, такое сиротливое и печальное». Аканто тяжело вздохнул и стал смотреть вдаль.

Внизу простиралась река, извилистая и спокойная. В долине среди чернеющих кустов были видны голубые озерца. Их много, так много, что, может быть, нельзя и сосчитать, и они разные, совершенно не похожие друг на друга ни по величине, ни по форме, ни по цвету. Одни — маленькие, круглые, как блюдца, и голубые-голубые, даже чуть-чуть темноватые; другие — большие, продолговатые, пятнистые, будто утиные яйца,— часть озера светло-голубого цвета, а часть темная. Если такое озеро обойти вокруг, то, пожалуй, устанешь.

За долгие годы Аканто много раз смотрел с холма на долину. Вид этот знаком ему до мельчайших подробностей. Но вот теперь, когда старик смотрел на долину, может быть, даже в последний раз, он не мог оторвать взгляда, точно видит все впервые. А сердце стучит в груди сильно-сильно, будто Аканто пробежал с добрый десяток километров.

Не хотел старый бригадир перекочевывать на новое место, ох как не хотел. Привык к холму, где всегда сухо, даже в самый сильный дождь, к речке, богатой рыбой,

к вкусу воды в озере, которое совсем недалеко и откуда женщины всегда брали воду на чай. Теперь ему казалось, что на новом месте, расположенном отсюда за сотню километров, не найти такого удобного, хорошо продуваемого ветром в летнее время холма, не найти реки так по-настоящему богатой рыбой, не найти озера, в котором была бы такая вкусная и чистая вода.

На заседании правления колхоза, где обсуждали вопрос о переводе стада оленей бригадира Аканто на новые пастбищные угодья, собралось много народу. Кроме членов правления были приглашены специалисты сельского хозяйства — олентехники, ветврачи и зоотехники, передовые опытные бригадиры и даже приехал кто-то из района.

Аканто думал выступить и доказать всем, что пастбища на маршруте выпаса оленей можно использовать еще года три-четыре, а потом уж нужно будет перевести стадо на другое место или маршрут изменить. Примеры, которые хотел привести Аканто в подтверждение своих выводов, казались ему убедительными и вескими. На заседании же, когда выступили специалисты и разложили, как говорят, все по полочкам, Аканто не стал и сопротивляться. Он не выступил, молчал и только слушал, а вот его заместитель Номынкау, так тот стал так уговаривать правление перевести стадо на новые пастбища, будто на старом и дня нельзя прожить. Аканто не сердился на помощника. За что на него сердиться? Молодых всегда тянет на новые места. Правда, бригадир просил отложить переезд до зимы, когда легче будет перекочевывать, но правление решило, что тянуть время незачем, надо переезжать сразу же: ведь теперь есть мощная техника.

Ночью подогнали вездеходы, погрузили на них рано утром нехитрый скарб всей бригады, и вот вездеходы ушли. Километрах в тридцати от бывшего стойбища вездеходы остановятся, чтобы можно было взять на рыбалке вяленой рыбы, а оленеводы заночуют там.

Старик не поехал на вездеходе: захотелось побыть одному, захотелось проститься с родными местами. Солнце стояло еще высоко, день был в разгаре, и Аканто не торопился уходить.

С раннего утра вплоть до этого часа старик все время был на ногах. Он помогал разбирать яранги, следил за тем, чтобы правильно уложили рэтэмы, и за день так набегался, что теперь болели ноги, Аканто сел на землю и почувствовал, как приятно и хорошо стало его натруженным ступням.

Долина реки с многочисленными озерами и темным кустарником простиралась перед бригадиром, и он попрежнему смотрел на все вокруг пристально и с какой-то странной, ранее незнакомой ему нежностью. И он думал, что каждый человек, наверное, так устроен, что быстро привыкает к местам, где живет, и эти места ему становятся родными. Правда, бывают люди, которым долгая жизнь на одном месте в конце концов надоедает, они томятся от однообразия и стремятся к переменам. Вот такой человек его заместитель, еще молодой оленевод Номынкау. Пять лет всего пожил в этих местах, и похоже, что надоело ему все, потянуло к переменам.

Опять Аканто вспомнил, как Номынкау горячо доказывал необходимость смены старых пастбищ, и в душе почувствовал недовольство от настойчивости Номынкау. «Был бы он покладистее,— подумал бригадир,— так можно было бы еще с годик пожить в этих местах». И старику теперь стало казаться, что, проживи он тут еще с год-два, он сам стал бы стремиться к перемене места. У Аканто появилось такое чувство, будто его почти насильно выгоняют с обжитого места. Конечно, он все хорошо понимал, понимал, что никто его не выгоняет, что действительно старые пастбища, на которых паслось стадо его бригады долгие годы, сильно выбиты и, чтобы они восстановились, нужно перегонять стадо на новые выпасы. Он понимал все это,

но что поделаешь с привычкой, что поделаешь с самим собой?

Сидел старый бригадир на земле и думал о тех памятных днях, что прожил здесь, о тех праздниках, что устраивались осенью и зимой, когда со всей Алькатваамской тундры сюда, в стойбище бригады Аканто, приезжали пастухи-оленеводы. Веселое было время! Какие захватывающие соревнования устраивались, какие ярмарки! На них можно было купить все, от прочного зеленоватого материала на камлейку до выделанной шкуры нерпы.

Вспомнил Аканто и тот день, когда здесь, в тундре, собралось много людей специально в его честь. И столько он хороших слов услышал о себе, сколько, может быть, за всю жизнь не слышал. Потом секретарь обкома партии вручил ему орден за хорошую работу. Да, навсегда запомнился тот день.

«Будет ли работа в бригаде идти на новом месте так же хорошо, как здесь?» — думал бригадир. Нельзя с уверенностью сказать, что ждет стадо оленей и самих пастухов на новом месте, нельзя сказать, что будет завтра, нельзя сказать так, как с уверенностью говорил здесь: завтра будет все хорошо. Новые места, по которым, несмотря на свой солидный возраст, Аканто никогда еще не прогонял оленей, совсем недавно выделили их колхозу. «Конечно,— размышлял старик,— пастбища там богаты кормом, это хорошо. Надо вот только изучить их как следует, найти отельные места, зимние выпасы».

Теперь, когда Аканто представил на мгновение, сколько придется пройти и проехать по тундре в поисках удобных, защищенных от сильных ветров пастбищ и стоянок для яранг, он ужаснулся: все нужно было начинать сначала. Нет, старик не боялся работы, наоборот, он любил ее, как любит каждый настоящий пастух, настоящий оленевод, всю свою жизнь отдавший одному делу, делу дедов и прадедов, которое они знали в совершенстве, которое и он

знает не хуже. Олени — это вся его жизнь, и он не мыслил себя без них.

Время давно перевалило за полдень. Тучи, что были далеко над морем, теперь закрыли почти полнеба. Ветер подул сильнее, резче. Заметно похолодало. Воздух стал каким-то тугим, наполненным совершенно иными запахами, совсем не такими, как несколько часов назад. Старик поднялся на ноги и подумал, что скоро пойдет снег, именно снег, потому что в воздухе уже был снежный запах.

Еще раз окинув долгим взглядом долину реки, вершину родного холма, Аканто решил идти на рыбалку, где его должны ждать вездеходы. Он постоял несколько минут, и ему захотелось еще раз обойти ровную большую площадку.

Там, где стояли яранги, земля так сильно уплотнена, утрамбована, что по твердости не уступит камню. Десятки ног многие годы ходили по этой земле. Там, где раньше горели костры и где совсем недавно возвышались небольшие холмики золы, теперь ровно. Золу ветер успел разнести по тундре, но земля на месте костров была темная, пережженная. Долго еще она будет хранить следы человека, следы огня.

Ветер, холодный, жесткий, как старая, высохшая, желтая трава, ударял в лицо, грудь, руки. От холода теперь был виден выдыхаемый воздух. Тучи еще сильнее закрыли небо, но на западе, где краснело по-осеннему холодное солнце, оставался большой светлый кусок.

Аканто медленно стал спускаться с вершины холма в долину. Идти под гору легко, ноги ступают сами. Он уже далеко ушел от места бывшего стойбища, почти достиг реки и вдруг остановился, оглянулся.

Холм был хорошо виден старику. И Аканто представил себе яранги на вершине холма, представил дымок над ними и даже почувствовал, как по долине расползается приятный запах варящегося оленьего мяса. Так всегда было,

когда он возвращался ранним утром с дежурства. Собаки, завидев человека, начинают лаять, а когда подойдешь ближе, они узнают своего, замолкают сконфуженно и бегут по склону холма навстречу, приветливо, старательно помахивая хвостами. Все это было так, но теперь уж больше никогда не будет: зарастет холм травой, и, наверное, никто никогда не узнает, что здесь жили люди.

Аканто все смотрел и смотрел на холм и никак не мог оторвать взгляд. Нелегко было прощаться со старым стойбищем, ох как нелегко! То ли от ветра, такого пронизывающего и жесткого, то ли еще от чего, только все перед глазами помутнело, стало плохо различимым...

Через час тучи уже заволокли небо, похолодало, и вот пошел снег, первый снег в эту осень. Он был редкий, почти невидимый. Снежинки не долетали до земли, таяли еще в воздухе. Но с каждым разом новые спускались все ниже и ниже, и потом они стали падать на самую землю, но земля была еще теплой, не скованной морозами и потому не белела, оставалась бурой.

Аканто поднялся на перевал и когда снова оглянулся, то холма уже не было видно...

Карты старухи Кайнына

У пастуха Тавтава умер сынишка. Он лежит в пологе в крохотной меховой одежде с вытянутыми вдоль тела руками. Личико Тагро белое, будто зимнее небо, глаза закрыты, и кажется, что он вовсе не умер, а спит крепко-крепко. Аретваль — мать Тагро,— высокая, широкоплечая, в свободном сером меховом комбинезоне — керкере, с непокрытой головой, уткнулась в ноги сыну и плачет.

Четыре старухи, полузакрыв глаза, сидят в углу полога. Они неподвижны, как мумии, как древние боги, вырезанные из кусков дерева. Старухи стали уговаривать Аретваль. Она не слушается, все плачет и плачет. Лица старух, сухие, морщинистые, выражают полное спокойствие и даже равнодушие.

Я сижу недалеко от уснувшего навсегда маленького Тагро и смотрю на белое его личико, маленькие руки с каким-то затаенным страхом. Плач Аретваль усиливает этот страх.

Странной и непонятной мне кажется смерть человека. Вот он ходил, работал, волновался, переживал, и вдруг нет его. Понятно — болезни там, несчастные случаи... Но зачем это все, зачем болезни, зачем несчастные случаи? Может быть от того, что я молод, что при мне никогда никто не умирал, смерть кажется непонятной и бессмысленной? Еще непонятней для меня смерть ребенка. Жить бы ему долго-долго, расти, радоваться, а тут...

Маленького Тагро я любил, его все любили: он был веселый, понятливый, ласковый мальчик.

На дворе пурга. Даже здесь, в пологе, слышно, как шумит ветер, и иногда яранга начинает сильно дрожать от резких неудержимых порывов.

Сижу и вспоминаю, что шесть лет назад, когда я только приехал работать в Алькатваамскую тундру, познакомился с Аретваль и Тавтавом. За мной, как за колхозным зоотехником, закрепили две оленеводческие бригады. Летом, зимой, осенью и весной я пропадал в тундре.

В ту пору Аретваль часто наведывалась к нам в гости. Не сиделось пастушке в своей яранге. Она приезжала всегда одна, без проводников, на оленях горячих и быстрых. Она не боялась ни пург, ни холодов, ни расстояний в сотни километров. В нашей бригаде видавшие виды пастухи и те удивлялись: «Как можно женщине одной отважиться на такой длинный, трудный путь!» Но тогда Аретваль было все под силу. Она работала заместителем бригадира в соседнем оленеводческом колхозе. Частенько языкастая поземка загоняла женщину в нашу бригаду.

Аретваль появлялась вся в инее, сверкающая, с лицом розовым от мороза. Она не торопясь распрягала оленей, долго у входа в ярангу обивала с меховой одежды снег. Ее плотным кольцом обступали пастухи и начинали расспрашивать о всякой всячине, но Аретваль не отвечала на их расспросы, глазами искала в толпе обступивших ее мужчин Тавтава. Он никогда не выходил ее встречать, чтобы избежать лукавых взглядов пастухов бригады. Но только услышит, что приехала Аретваль, берет в руки гармошку и начинает играть, да так играть, что меха чуть не лопаются от его старания и азарта. Бедная гармошка,— в эти дни ей особенно достается.

Сбив снег, Аретваль проходит в чоттагин, снимает с плеч керкер, молча пьет чай и искоса посматривает на Тавтава.

С приездом Аретваль Тавтав просто на глазах перерождается. Он и так каждый день не дает пастухам покоя, пиликает мотив песни «По долинам и по взгорьям» на тульской гармошке, подаренной ему моим предшественником зоотехником Витькой Дерлюговым, веселым, бесшабашным туляком. Теперь Тавтав терзает меха день и ночь. Он, обычно задумчивый, становится оживленным, радостным, и улыбка не сходит у него с лица, как у манекена.

В тот зимний давний вечер мы только перекочевали на новое место, сильно устали и потому рано легли спать.

Тавтав и Аретваль (она помогала нам перекочевывать) долго сидели у костра. Он потихоньку, чтобы не тревожить спящих пастухов, играл на гармошке, она пила чай и ласково улыбалась.

Я лежал в пологе рядом с бригадиром Аканто, молчаливым, добрым стариком, и не мог уснуть. В ту ночь я думал, что вот уходят дни за днями, а на смену им приходят точно такие же дни-близнецы, размеренные и спокойные, с давно устоявшейся работой, привычными заботами и постоянными обязанностями, что один день трудно отличить от другого, что так мало необычного, неповторимого. Мне скучно было оттого, что жизнь так однообразна, и я с сожалением вспоминал, как когда-то, четырнадцатилетним мальчишкой, нетерпеливо подгонял время. Мне тогда хотелось быстрее стать взрослым, хотелось скитаться по свету в поисках необычного, хотелось целовать девушек, хотелось любить, как Ромео любил свою Джульетту. После этой ночи я почему-то стал бояться грядущих дней-близнецов. Я, наверное, взрослел.

В пологе, как всегда, душно, и, подняв переднюю меховую стену, я высунулся в чоттагин. Было темно, костер почти потух, изредка он кусал темноту синим, похожим на зуб пламенем и снова замирал. Тогда по яранге пробегали таинственные тени.

В углу, недалеко от полога, где лежали ворохом выде-

ланные оленьи шкуры, я услышал какие-то шорохи. Потом в отблесках костра увидел Тавтава и Аретваль. Они, прижавшись друг к другу, лежали на шкурах и шептались.

— Мне хочется, чтобы у нас был сын. Я научил бы его пасти оленей и играть на гармошке. Научил бы лучше, чем играю сам.

— А разве девочка — это плохо? Помогать будет шить одежду, варить мясо. Хорошо, если бы у нас родились и девочка и мальчик...

Я залез обратно в полог и вскоре уснул.

Утром, когда проснулись пастухи и стали пить чай, Тавтав сказал, что Аретваль отныне будет его женой и останется у нас в яранге.

Прошло столько лет, а мне помнится то утро, та ночь, тот полузатухший костер и тени, мечущиеся по рэтэму яранги.

На дворе все шумит, не унимается пурга. Ветер барабанит по рэтэму то сильно, то слабо, то спокойно, то отчаянно.

Аретваль все плачет и плачет, и мне больно видеть эту добрую женщину, убитую горем.

Тавтав не знает, что у него умер сын. Две недели назад он уехал в центральную усадьбу колхоза в правление с отчетами о работе бригады. Вчера вечером бригадир Аканто и пастух Тынетегин выехали на оленях за Тавтавом.

Сегодня из всех бригад в нашу ярангу приехали пастухи с женами. Мужчины сидят недалеко от костра, пьют чай и разговаривают вполголоса. На своем веку они много видели мертвецов. «Что плакать о покойнике, этим его не оживишь», — говорят они. Мужчины стараются быть спокойными. Но, когда из полога доносится плач Аретваль, они разом поворачиваются в сторону женщины и сидят молча. Нелегкое это дело — слушать женский плач.

Мужчины знают, что такое слезы, но они суровы, как скалы Анадырского хребта, сердца их и тела закалены

тундровыми невзгодами, и потому нет у них слез, чтобы оплакивать покойника. Но это не значит, что они равнодушны к беде друга, соседа, сородича. Они для того и приехали, чтобы разделить страшное материнское горе Аретваль.

По обычаю мужчины пьют чай и ведут неторопливо беседу. Они говорят о Тагро, вспоминают его забавы и игры. Один пастух вспомнил, как катал мальчика на своей оленьей нарте и как тот был доволен, как смеялся и радовался. Другой рассказал о том, что брал с собой Тагро в стадо, учил его метать чаат и что сначала у Тагро ничего не получалось, а потом он все-таки заарканил оленепка. Олененок был сильный и потащил за собой мальчика, который упал на землю, но не выпустил из рук чаата. Пастух помог удержать олененка, Тагро поднялся и не плакал, а улыбался. Кто-то вспомнил, что Тагро сильно любил собак и, когда ему подарили щенка, он с ним не расставался.

Рассказы пастухов о мальчике просты и бесхитростны, они говорят о нем с любовью и теплотой.

Аретваль все плачет и плачет. Я несколько раз подходил к ней, старался успокоить, но женщина не слушала моих уговоров. Как она похудела, как осунулась! Горе беспощадно высасывало из нее силы. Лицо у Аретваль стало белым, почти бескровным, под глазами синяки.

К вечеру из шестой бригады приехала старуха Кайнынo. Приезд ее всех удивил. Редко старуха выезжает из своей яранги. Стара, нелюдима, сурова Кайпыно. Худая молва ходит о ее нелюдимости. Боятся старуху пастухи Алькатваамской тундры. Если кто-нибудь приезжает в ее ярангу, то становится, как говорят, ниже травы, тише воды. Прищурит глаза Кайныно, посмотрит на прибывшего так, что у того сердце обледенеет, и спросит:

— Зачем приехал? Что потерял здесь?

Говорят, из-за сурового нрава старухи не находится же-

них для ее дочери Каутваль, хотя и считается она первой красавицей в наших краях. Ходят слухи, будто не один молодой пастух приходил сватать Каутваль, но старуха и разговаривать не хочет. Прищурит желтоватые строгие глаза, спросит:

— Зачем приехал? — И, не дождавшись ответа, добавит: — Дочь мою завоевать нужно, как раньше, в старые времена. Покажи, на что ты способен в работе, тогда и приходи.

Один Тыпанват удостоился признания старухи. Смелый, ловкий был охотник. Он принес в ярангу шкуры лахтака, нерп, добытые им самим, показал Кайныно квитанцию, где было написано, как много он поймал и сдал колхозу песцов. Квитанцию Кайныно прочитать не могла, потому что была неграмотной, но все говорили, что Тыпанват лучший охотник. Недолго побыл молодой пастух в яранге Кайныно, но за короткое время успел починить деревянный остов яранги, навозить с берега моря дров и еще переделать много всякой мелкой работы. Сдалась Кайныно, решила отдать Тыпанвату в жены свою дочь, но три года назад, за месяц до свадьбы, погиб Тыпанват на охоте.

Теперь нет желающих сватать Каутваль, видно, так и останется она старой девой, потому что сама не найдет себе жениха: побоится ослушаться мать.

Как-то осенью я возвращался в поселок из самых дальних стад, расположенных в районе реки Туманской. В дороге нас застала непогода — первая, по-зимнему холодная пурга. Одеты мы с проводником были легко. Ближайшим жильем, где можно переждать пургу, оказалась яранга Кайныно. Проводник не хотел идти — боялся, я настоял. Думаю, чего мне-то бояться, я же не иду сватать Каутваль.

Встретила нас старуха настороженно, пригласила в полог поесть и попить чаю. Я расхрабрился, хотел поговорить с ней, но она, насупившись, молчала. Лицо ее, морщи-

листое, темное от вечной копоти в яранге, выражало полнейшее безразличие. Старуха совсем седая, голову охватывает тонкий, тщательно выделанный ремешок. Чем-то необычным, древним веет от этой женщины. В самом деле чувствуешь себя перед ней скованно и неловко, как напроказивший ученик перед строгим учителем.

Мясо и чай в полог подавала Каутваль. Она действительно была красивой. Ровные белые зубы, глубокие ямочки в уголках рта, глаза круглые, черные, блестящие, как крупные ягоды шикши после дождя. Косы у девушки длинные, стан стройный, гибкий, невольно смотришь на нее и не можешь отвести взгляд.

Когда чооргин — передняя стена полога приподнялась и Каутваль, просунув голову, подала чайник, я не удержался от желания чем-то привлечь внимание девушки и, встретившись с ней взглядом, подмигнул. Каутваль улыбнулась хитро, ямочки на ее щеках стали еще глубже, и, когда через несколько минут девушка снова показалась, чтобы подать блюдца, она сама подмигнула мне.

Старуха все видела, она кольнула меня хмурым взглядом, и я подумал, что теперь не миновать беды. Но Кайнынэ вовсе и не ругалась, и все мои опасения были напрасны. Неожиданно потеплели ее глаза, она стала смотреть вдаль и задумчиво сказала:

— Я тоже была молодой.

Эти слова старуха произнесла так, будто сама для себя открыла, что была когда-то молодой. Она посмотрела на меня, потом на проводника, который от удивления разинул рот, и опять заговорила, теперь уже назидательно, спокойно:

— Мужчина должен уметь хорошо работать. И этим покорить женщину. Что теперь? Приходят, сватаются, а невеста и знать не знает, может ее будущий муж хорошо работать или нет, любит он детей или нет. Раньше по-другому было...— Она замолчала, отвела взгляд в сторону и

будто что-то там увидела.— Хорошо быть молодой,— тихо добавила она и улыбнулась неожиданно доброй улыбкой. Тонкие потрескавшиеся губы старухи обнажили табачного цвета десны, корешки редких зубов.

Я первый раз видел, как смеется Кайныно. Видимо, впервые это видел и мой проводник, потому что на улыбку старухи и он смотрел, как на чудо. Мне навсегда запомнились и эта улыбка, и слова, с которыми в душе я вполне соглашался.

И вот сейчас, когда Кайныно вошла в ярангу, я вдруг все это вспомнил. Кайныно казалась сердитой, но я знал — она может улыбаться.

Каутваль приехала вместе с матерью. Она заботливо обила с керкера Кайныно снег.

Старуха, бегло оглядев всех сидящих в чоттагине, проковыляла к пологу. Женщины расступились, освободили место Кайныно.

Старуха подползла к покойнику и бесцеремонно оттолкнула в сторону плачущую Аретваль. Она долго, сосредоточенно смотрела на нежное личико ребенка, будто изучая его. Дрогнули на лице старухи морщины, повлажнели глаза, и тут же лицо изменилось, стало, как прежде, суровым, непроницаемым, будто это было вовсе не лицо, а маска, которую она на себя надела, чтобы скрыть истинное выражение.

Кайныно посмотрела на Аретваль, которая все еще плакала, уткнувшись в шкуры.

— Перестань, зачем плачешь? — Старуха заговорила медленно, даже как-то устало, будто она об этом говорит не первый раз.— У меня семь детей унесла болезнь. Раньше много детей умирало, и мы привыкали к их смерти. Я не плакала, я еще двоих родила — Теттегина и Каутваль, если бы не состарилась, то еще бы кого-нибудь родила. Теперь по одному ребенку все рожают, вот и убиваются о них. Я вот что скажу тебе, брось плакать, горю этим не

поможешь. Старики раньше говорили, что если женщина долго плачет, то детей потом не сможет рожать. А у женщины много должно быть детей, ведь она для этого и живет.

Аретваль затихла, вслушиваясь в хриплый голос старухи.

Кайныно медленно отползла в освободившийся угол полога, сняла малахай, вытащила из-за пазухи карты, какие-то все потертые, старые-старые, потом поманила к себе Аретваль.

Я посмотрел на Кайныно, на ее склонившуюся над картами седую голову, и в полумраке полога мне показалось, что седины образуют большие полосы. И я подумал, что для этой суровой женщины смерть каждого ребенка тоже не прошла бесследно.

Отсчитав несколько карт, старуха сунула их пачкой в руку Аретваль. Потом подозвала еще двух женщин, которые сидели молчаливо, неподвижно, и раздала им оставшиеся карты.

В яранге стало тихо, даже мужчины перестали разговаривать. Я поглядел на сосредоточенное лицо Аретваль, которая что-то беззвучно шептала, перебирая карты, и только теперь понял добрый замысел Кайныно.

Я знаю, что играть в карты на похоронах не в обычае чукчей. Просто старуха решила картами отвлечь Аретваль от тяжелых переживаний. И меня удивила эта чуткость.

За меховой стеной яранги неутешно плакала пурга. А мне все чудилось и чудилось, будто там, на улице, плачет замерзший Тагро. Мне виделся он, маленький, розовощекий, со слезами на глазах. Я хотел выскочить на улицу, чтобы завести его в ярангу, чтобы удивить и обрадовать всех и особенно мать Тагро Аретваль, но вдруг страшной силы порыв ветра потряс наше жилье. Рэтэм зазвенел, забился, будто флаг на ветру. Ушедшую жизнь нельзя вернуть, как нельзя вернуть умчавшийся вдаль ветер.

Мы пили чай, говорили не спеша, вспоминая веселые, счастливые дни из жизни мальчика Тагро.

Вечером приехал из поселка Тавтав. Он долго обивал снег с одежды у входа, потом не торопясь вошел в ярангу и, ответив на приветствия пастухов, направился к пологу. Внешне Тавтав был спокоен, но, когда склонился над сыном, лицо его стало таким бледным, что отливало синевой. Он долго смотрел на Тагро, потом резко выпрямился и, закрыв глаза, постоял немного, слегка покачиваясь, а, когда подошел к пастухам и молча сел в круг, на его лице уже трудно было увидеть следы глубокого волнения, переживаний. Ему подали полную кружку крепкого чая.

— Сына повезу в поселок,— взяв кружку, заговорил Тавтав, обращаясь к пастухам.

Все молча смотрели на него. Он решал, как хоронить сына.

По-старому обычаю чукчей хоронят в тундре. Тело кладут на землю и обкладывают камнями. Теперь пришли другие времена, в поселках умерших хоронят на кладбище, их зарывают в яму и на могиле ставят алые звезды.

Тавтав решил везти сына в поселок. Пастухи молчали. Все словно обдумывали сказанное Тавтавом.

— А как же наш обычай? — медленно произнесла Кайныно. В тоне ее голоса было что-то властное, даже грозное. Старуха не смотрела на Тавтава, она продолжала играть в карты, лицо ее было сосредоточенно и бесстрастно.

Услышав голос Кайныно, Тавтав вздрогнул, сразу же узнав его. В полумраке полога он не заметил старуху. Молодой пастух долго молчал, зажав в руках кружку с горячим чаем. Пот маленькими частыми капельками выступил у него на лбу. Отхлебнув из кружки еще раз, он повернулся в сторону полога, где была Кайныно, и резко сказал:

— Я не хочу, чтобы моего сына растерзали песцы в тундре! — И, как бы оправдываясь, добавил: — В поселках всех чукчей хоронят на кладбище. Закон такой в сельсовете есть.

Сам он не знал, есть такой закон или нет, но был почему-то уверен, что есть.

Старуха метнула в сторону Тавтава острый, холодный взгляд. Пастух стушевался и тут же отвернулся.

— Тебе виднее,— проронила Кайныно, голос у нее, как прежде, был суров и властен.— По всей нашей тундре разбросаны тынмаи — памятники умершим. Под оленьими рогами тел человеческих нет, но мы знаем: около тынмая, в любимом месте умершего, всегда живет его дух. Когда закопают человека в землю, дух его не сможет выйти наружу.

— Да никаких духов нет,— отрезал Тавтав,— сказки все это!

В яранге наступила долгая напряженная тишина. Лишь шумел разъяренный ветер, да рэтэм хлопал, гудел, как бубен.

Молчал в углу старый бригадир Аканто, который только что приехал с Тавтавом из поселка. Он сидел, потупив взгляд, и вроде ничего и не слышал. Молчали и остальные пастухи, плотным кольцом сидевшие вокруг костра в чоттагине.

Все знали, что духов никаких нет, но никто раньше не говорил так резко с Кайныно.

Рано утром, когда солнце только поднялось над тундрой, когда предрассветная морозная синь еще висела над снегом легким покрывалом, когда недавнюю пургу сменила морозная тишина, на нарту уложили тело Тагро и укрыли его шкурами.

Ареталь положила рядом с Тагро кружку, маленький чаат, гармошку, потертую, старую на вид. По обычаю с умершим оставляют те вещи, которые он любил.

Тавтав ловил в стаде ездовых оленей. Когда он подошел к нарте и увидел гармошку, брови его недовольно сдвинулись.

Он посмотрел на жену и спросил:

— Зачем?

Аретваль залилась слезами. Она закрыла лицо руками и сквозь плач ответила:

— Он ведь любил играть с ней...

Тавтав снова нахмурил брови, желваки заходили на его широких скулах. Он хотел что-то сказать, но сдержался, сел на нарту и, ударив оленей, умчался в поселок.

Все пастухи выходили провожать Тавтава, только Кайныно осталась в яранге. Мрачная, задумчивая она сидела в пологе, перебирая, будто четки, свои старые, потрепанные карты. В пологе было дымно, душно от костра, горевшего в чоттагине, и, может быть, поэтому на глазах у Кайныно выступили слезы.

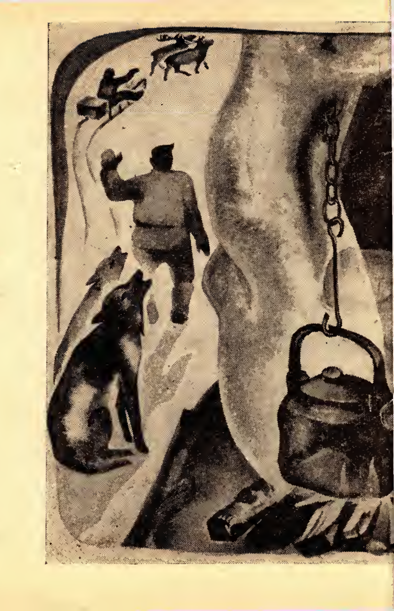
К полудню после долгого чаепития пастухи стали разъезжаться в свои бригады.

Старуха еще два дня прожила в яранге Тавтава, дожидаясь, когда приедет сам хозяин. Она не отпускала от себя Аретваль, заметив на ее глазах слезы, коротко говорила:

— Зачем плачешь, это плохо. Лучше думай о том, чтобы появились у тебя еще дети. Детьми горе свое излечишь.

Аретваль шмыгала носом, как маленькая девочка, и утирала слезы. Потом, когда приехал сам Тавтав, на которого теперь легла обязанность смотреть за Аретваль, Кайныно, холодно простившись с молодым пастухом, уехала. Больше до конца дней своих она не появлялась в яранге Тавтава.

Летом я долго жил в поселке, иногда ходил на кладбище. Оно было за поселком, на высоком холме, откуда далеко видна синеющая бесконечная тундра.





Однажды я пришел на кладбище и увидел на могиле Тагро маленькие, аккуратно сшитые камусные рукавички. Сначала я не понял, зачем они здесь, потом догадался, вспомнил, что зимой, когда тело мальчика укладывали на нарту, на нем не было рукавичек. Кто-то теперь принес их, чтобы там, в «загробной жизни», Тагро не было холодно.

Когда я внимательно осмотрел могилу, то заметил, что с травы вокруг была сбита роса. Значит, кто-то положил рукавички совсем недавно. Я прошел на другой конец кладбища и увидел, что по склону холма уходила в тундру женщина. Она шла медленно, сгорбившись, тяжело переставляя ноги.

Женщина была уже довольно далеко, и я не мог узнать ее, но походкой она напомнила мне старуху Кайныно.

День признания

Ранней осенью два соседних колхоза решили провести осенний праздник забоя оленей. Почти все пастухи Алькатваамской тундры собрались в излюбленном для празднеств месте. Солнце было ярким и теплым, как летом, и в долине, у подножия сопки Кэпэрнэй, было даже душно.

Утром открылась ярмарка. Из пошивочных мастерских соседних поселков привезли в тундру разукрашенную бисером меховую одежду. Здесь были кухлянки, меховые брюки и малахаи, камусные торбаса и рукавицы, мягкие теплые меховые чулки — памьят и легкие, сшитые из дымленой кожи чукотские тапочки — чывэрит. Все это лежало на земле, вывернутое светло-коричневой мездрой наружу, чтобы люди видели, как выделаны шкуры и как сшиты изделия. На земле также лежали рулоны разноцветного, яркого ситца. Издали ситцевые ряды походили на луг, густо заросший такими яркими, такими удивительными цветами, каких, наверное, никогда не встретишь на земле.

Шумна, многолюдна ярмарка. Пастухи с женами толпились у товаров, трогали их, рассматривали, приценивались и покупали. Каждый приобретал то, что нужно в первую очередь, а потом уж — что душе любо. К ситцу женщины относились с особым вниманием: они трогали его, мяли в руках и, проверяя прочность, отрывали узкие ленточки. Продавцы было воспротивились, но где там! Загалдели, зашумели

все, мол, не будем брать товар до тех пор, пока не убедимся, что он хороший. Ситец в тундре — самый ходовой материал. Красивый он, мягкий, пот хорошо в себя впитывает, легко стирается, и сшить из него можно и рубашку, и платье, и камлейку для кухлянки, и покрывало для кукуля.

На шум у ситцевых рядов пришел начальник всей ярмарки — директор районной торговой конторы Василий Егорыч Тазов, невысокий плотный человек с добродушным простым лицом хозяйственного, рассудительного рязанского мужика.

— Что за шумотá? — спросил он и улыбнулся.

Продавщицы стали запальчиво объяснять.

— Да нехай рвут,— махнул рукой Тазов,— нехай, только волю-то не больно давайте. Потом председателю покажем, заплатит, люди-то его.

Бойко шла торговля до самого обеда. Женщины покупали посуду, тазы, чайники и другую необходимую в скромном тундровом быту утварь. Мужчины примеряли меховые брюки, кухлянки, торбаса, придирчиво рассматривали их и, если находили хоть маленький изъян, тут же откладывали изделие в сторону и брали другое: выбор был большой. Продавцы на все лады расхваливали свой товар. Каждая пошивочная мастерская старалась, чтобы пастухи покупали именно ее изделия.

Часа в три дня, когда солнце достигло зенита и медленно, незаметно стало клониться к земле, когда настала самая жаркая пора дня, начался концерт агитбригады районного клуба, прибывшей сюда, в тундру, по случаю праздника.

Зрители расселись полукругом на лужайке в низине. Здесь было так жарко, что многие пастухи поснимали кухлянки и сидели кто в свитере, а кто и просто в одной рубахе.

Артисты, в большинстве молоденькие худенькие кра-

сивые девушки, стояли в сторонке у небольшого бугра. После того как объявляли номер, кто-нибудь из них отделялся от группы, выходил на бугор и начинал петь или плясать.

Зрители были так благодарны, что каждого участника концерта вызывали второй раз, а некоторых не отпускали до тех пор, пока они не исполнят свой номер трижды. Видимо, такой горячий прием сказался и на участниках самодеятельности: выступали они с большим старанием и вдохновением.

Особым успехом пользовались чукотские танцы ансамбля «Олененок». Под размеренные упругие удары бубна девушки исполняли танец «Журавли», а зрители улыбались, кивали в такт головами. Когда смолк бубен и девушки поклонились публике, все закричали:

— Еще давай, давай еще!

И девушки танцевали еще, лица их, разгоряченные, возбужденные, были счастливы.

После концерта началось общее чаепитие. На лужайке, где только закончилось представление, развели огромный костер. Люди расселись группами. В первую собрались старики, во вторую — пастухи среднего возраста, в третью — молодежь, а в четвертую — все женщины. В каждой группе шли свои разговоры, царило свое настроение. Старики, как всегда, вспоминали молодость, говорили о погоде и своих недомоганиях; женщины еще были во власти недавней ярмарки и обсуждали покупки, сожалели, что купили не все, что хотели, и намечали, что нужно приобрести в следующий раз. Молодые парни говорили о предстоящем беге и искоса посматривали в сторону, где были девушки, каждый на ту, которая ему приглянулась.

Под вечер, когда солнце спустилось еще ниже, стало тусклее и больше, когда легкий ветерок с севера принес прохладу, началось самое волнующее, самое долгожданное зрелище — бега с палкой. Заведующий красной ярангой

Эйгынкеу, мужчина лет сорока, худой, высокий, с продолговатой головой, будто ее кто-то с боков сильно сдавил, любитель спорта и всевозможных соревнований, вышел на середину лужайки и зычно крикнул:

— Начинаем состязание в беге с палкой. Участвовать могут все. Чем больше людей, тем лучше. Победителя ждет приз.— Эйгынкеу поднял руку, длинную, с большой мозолистой ладонью, выждал немного и потом, махнув ею, добавил: — Можно бежать.

В третьей группе, где собрались молодые пастухи, сразу никого не стало, поредела и вторая группка, где чаевали пастухи среднего возраста. Только старики и женщины остались на местах.

Закинув палку за спину или размахивая ею из стороны в сторону, пастухи убегали один за другим в тундру. Мало кто из сидящих у костра сейчас обращал на них внимание. Дистанция длинная и нелегкая, нужно бежать вокруг сопки Кэнэрнэй. Никто не знает длину этого пути. Двадцать, тридцать километров, а может, и больше предстоит пробежать пастухам по кочкастой болотистой тундре.

Часа через два-три бегуны появятся у другого конца сопки. Вот тогда будут подбадривающие возгласы сидящих, будет волнение, будет азарт.

Чтобы скоротать часы ожидания, неутомимый Эйгынкеу затевает новые спортивные игры. На невысоком столбе, еще вчера врытом в землю самим заведующим красной ярангой, повешены белые, искусно расшитые бисером торбаса.

— Прошу внимания,— захлопал в ладоши Эйгынкеу.— Кто достанет торбаса на столбе, тот их получит. Ну, кто смелый, кто ловкий?

Желающих было не очень много, потому что самые ловкие и смелые участвовали в бегах. Первым полез на столб Кетыкэй — пастух из восьмой оленеводческой бригады, худенький, маленький, с болезненным лицом. Поднял-

ся он до середины столба и вниз съехал — сил больше не хватило.

Потом на столб стал взбираться Пананто, но торбаса тоже не достал. Другие ребята пробовали, но и у них ничего не получалось.

Всех сидящих у костра заинтересовало соревнование. Раньше таких не проводили. Это уж Эйгынкеу столб придумал: горазд он на всякую выдумку.

— Что ж, так и будут висеть торбаса,— говорят старики,— так никто их и не достанет?

— Тэгрыттын, давай ты попробуй,— кричат толстому неповоротливому ленивому парню, сонливо сидящему у костра,— на одного тебя надежда!

Тэгрыттын и бровью не повел, ноль внимания на всех.

— Вот жирный,— стали все укорять,— хоть бы с места сдвинулся!

— Да где ему, он зад от земли не оторвет!

— Вот и оторву,— промямлил наконец Тэгрыттын и ухмыльнулся.

— Да где там,— опять стали подначивать парня,— попробуй на столб забраться...

Тэгрыттын молчит, сидит себе, сопит шумно и улыбается. А пастухи не унимаются:

— Ну, давай, давай,— говорят.

— Я бы мог,— Тэгрыттын зевает,— только столб не выдержит: тонкий больно.

— Столб я сам тесал,— в спор вступает Эйгынкеу,— ты давай лезь, он выдержит.

Парень поднимается, идет к столбу вразвалочку.

— Ну ладно, попробуем! — говорит.— Только, если столб сломается, я не отвечаю.

Подошел к столбу, постоял, постоял, поплевал на руки, потом поднял их и стал карабкаться вверх. Тяжело лезть, кухлянка мешает, торбаса скользкие, столб гладкий. Пыхтит Тэгрыттын, а лезет. На метр от земли под-

нялся, а вот уже и на целый рост человека. Вспотел бедняга, но выше все равно лезет.

— Тэгрыттын, давай,— кричат снизу,— немного осталось, а торбаса какие красивые, сама Таннытваль шила, лучшая мастерица во всей тундре. В таких торбасах в тебя все девки влюбятся.

Лезет Тэгрыттын, красный стал, как комар, который крови напился. До середины долез и еще выше лезет.

— Ты поднажми,— кричат снизу,— поднажми!

Выше лезет Тэгрыттын, уже до вершины немного осталось. Тут тонкий столб зашатался, наклонился набок и сломался. Тэгрыттын гулко, будто олений желудок, набитый ягелем, хлопнулся на землю.

Подбежали к нему, спрашивают:

— Больно?

А он лежит красный, надутый от испуга.

— Я же говорил, столб не выдержит, не верили. Я всегда правду говорю.

Кругом все засмеялись.

— Приз ему,— кричат,— честно заслужил.

Подбежал рассерженный Эйгынкеу.

— Я целую неделю столб тесал и скоблил, а ты...

Тэгрыттын молча вернулся к костру, сел на землю и стал пить чай. Эйгынкеу успокоился, отвязал торбаса и отдал их толстяку.

— Бери,— говорит,— если бы столб не сломался, может, и долез бы.

— Да, я же говорил,— парень виновато улыбнулся.— Я долез бы до верха, честно, немного оставалось.

Дым от костра могучим столбом поднимается к осеннему небу. Бледное солнце подкрасило дым мутной желтизной.

У костра сидят старики, пьют чай и не торопясь ведут беседу. Случай с толстым Тэгрыттыном развеселил всех. Добродушны, словоохотливы, веселы старики.

Келевги, самый старый из всех, полулежит на земле. Лицо его, темное, обветренное, морщинистое, с синими мешками у глаз, спокойно.

— Помню, в молодости я быстро бегал,— говорит он, отхлебнув из блюдца чай.— Сколько призов получил — не счесть. Помню, получил приз, который ставил человек с большой бородой. Кэро, как звать-то его? Забыл... Совсем память плохая стала...

Кэро, щуплый, юркий, вечно улыбающийся старик, сидит рядом, скрестив ноги.

— А... учитель-то... Алексей Иванович.

— Да, хороший человек был,— продолжал Келевги,— детей учил. На приз поставил кружку большую, красивую. Одна тогда была такая. Теперь их в магазине много.— Старик отпил чаю и тяжело вздохнул.

— Помнишь, как ты Питтегина обогнал? — Кэро заерзал от нетерпения, лицо расплылось в улыбке.— Поспорили они, кто кого в бегах победит,— обращаясь уже не к Келевги, а к остальным старикам, стал рассказывать Кэро.— Питтегин говорит, если я прибегу первым, отдашь мне пять важенок, а если ты первый прибежишь, то я отдам тебе десять. Самоуверенный был. И побежали они. Келевги хорошо тогда бегал.

Кэро восхищенно глянул на Келевги, тот, довольный, что о нем отзываются с такой похвалой, улыбнулся.

— Теперь что, праздники уж не те! — вступил в разговор Келевги.— Разве это праздник забоя оленей? Это какой-то новый праздник. Столб вот придумали...— Старик нахмурился.

— Тебе не нравится, а молодым нравится,— сказал Кэро.

Незаметно в разговорах прошло несколько часов. Солнце коснулось горизонта и стало красным, усталым. Бок сопки Кэпэрнэй, освещенный закатом, был рыжим, вроде шкурки линялой лисицы.

Становилось свежо, морозно, пахло у костра дымом, чаем и еще чем-то приятным и незнакомым.

Кто-то из стариков поднялся на ноги и посмотрел в сторону сопки.

— Какомэй! — воскликнул он,— бегут, во-оон уже бегут!

Все у костра загалдели, зашевелились, привстали. Один Келевги продолжал пить чай. Его не тревожила поднявшаяся суматоха. Бегут еще далеко, и потому он все равно ничего не увидит.

От сопки к костру бежали пастухи. Они по одному выскакивали из кустов и, размахивая палками, старались перегнать друг друга. Впереди всех легко и красиво бежал юноша. Бег его ровен, пружинист.

Келевги приподнялся и спросил:

— Кто первый? Кто первый?

— Тавтав,— ответили из толпы.

— Я так и знал...— пробормотал Келевги. Он долил в блюдце горячего чаю и, отпив немного, стал задумчиво смотреть перед собой. Лицо, ранее спокойное, теперь выражало раздражение. Губы старика были плотно сжаты, на лбу собрались морщины. Но глаза, как и прежде, были непроницаемы, нельзя было понять, что же творится в душе Келевги.

Он завидовал Тавтаву, его молодости. Когда видел Келевги, как красиво, легко бежит Тавтав, ему становилось больно, будто горячий уголек попадал в сердце. Старик и сам не понимал, почему становился раздражительным, неприветливым, даже злым. Чтобы заглушить в себе раздражение, Келевги начинал вспоминать о том времени, когда был молодым, вспоминал те частые состязания в беге, в которых он неизменно побеждал, вспоминал, как награждали его призами. Но раздражение и зависть не исчезали, даже наоборот: ему с новой силой хотелось опять самому испытать радость победы, почувствовать вкус маленькой славы,

увидеть восхищенные взгляды мужчин и женщин. Но прежнее время не могло вернуться, как не могла вернуться молодость, былая легкость и сила.

Частенько Келевги слышал в разговорах стариков, что Тавтав самый лучший бегун, что бегает он легче и красивей, чем когда-то бегал Келевги. Правда, все эти разговоры велись за глаза, чтобы не слышал он, но Келевги все знал, все слышал, и ему становилось не по себе.

На финише Тавтава встречало много народу. Мужчины с достоинством признавали первенство Тавтава в беге, а женщины не скрывали своего восхищения.

Тавтав устал, темные жесткие волосы его были мокрыми от пота. Молодой пастух широко улыбался, радуясь победе. Его крупные зубы ровно поблескивали.

В прошлом году на таком же вот празднике Тавтав прибежал вторым. Всю дистанцию он бежал первым, а на финише успокоился, решил, что теперь непременно будет победителем, расслабился, сбавил скорость, и на последних метрах его обогнал Ынтырультин, пастух из шестой бригады. Долго потом пастухи этой бригады подшучивали над пастухами бригады, в которой работал Тавтав. Горько переживал поражение молодой бегун, но духом не пал. Всю весну и лето потом тренировался.

Теперь Тавтав широко улыбается. Лицо его, круглое, молодое, счастливо и вдохновенно. К пастуху подходят друзья, поздравляют с победой.

Заведующий красной ярангой Эйгынкеу, вручая призы, долго тряс руку Тавтава и говорил:

— Порадовал ты всех, красиво бегаешь. Как только выбежал из-за сопки, я сразу увидел и не мог оторвать взгляда. У тебя интересно получается, будто ты не бежишь, а летишь по воздуху — так плавно. Другим бы рассказал, как научиться так бегать.

— Не знаю,— пожимает плечами смущенный молодой пастух,— просто бегу, и все.

Призы Тавтаву вручили хорошие: новую красивую камлейку, белые, искусно расшитые бисером камусные торбаса, меховой малахай и необычную, красивую кружку. Ее сделали умельцы в райцентре — шефы колхозов. Кружка большая, легкая, на ней нарисованы олени, пастухи, оленьи гонки, и, когда начинаешь кружку вертеть в руках, она переливается разными цветами, и нарисованные на ней олени, люди, собаки будто начинают двигаться. И еще на кружке написано: «Лучшему бегуну Алькатваамской тундры».

Все пастухи смотрели на кружку, все держали ее в руках, и все восхищались ею.

Старик Кэро, насмешливый и колкий, заглядывал даже внутрь кружки, слюнявил палец и пробовал стереть рисунок (не подделка ли?). Но кружка была сделана на славу, и старик расхвалил и Тавтава и завоеванный им в честной борьбе приз.

Время подходило к вечеру. Солнце уже коснулось горизонта, алым цветом выкрасив все: и небо, и сопки, и всю долину, где проходило празднество. С севера подул довольно сильный ветер.

У костра людей по-прежнему много. Особенно шумно в кругу стариков. Они горячо обсуждают, кто же лучше бегает — теперешняя молодежь или прежняя. Одни говорят, что раньше сильней бегали, потому что люди ловчее и выносливее были, другие доказывают, что теперь, потому что люди сейчас хорошо стали жить, и молодежь крепче пошла. Спорам стариков нет конца.

Келевги сидит молча, насупившись. Он не участвует в общем разговоре.

К старикам подошел Тавтав. Многие встретили его возгласами одобрения и восхищения. Келевги насупился еще сильнее. Тавтав приблизился к нему и, протягивая необычную кружку, сказал:

— Вот мой подарок! — Тавтав волновался, яркий румя-

нец выступил у него на лице.— Отец рассказывал, что ты был лучшим бегуном, он рассказывал, как ты тренировался, я многое у тебя перенял и считаю тебя своим учителем.

Келевги медленно поднял глаза и долго смотрел на протянутую руку Тавтава, раздумывая, брать кружку или нет. Потом он глянул на молодого пастуха — взгляд Тавтава был доверчивым и бесхитростным. Сердце Келевги дрогнуло, и он неожиданно спросил себя: «А ты мог бы это сделать, ты мог бы подарить кому-нибудь свой приз?» Старик не стал отвечать на этот вопрос: он боялся своего ответа.

Келевги осторожно взял подарок, долго, прищурив глаза, смотрел на удивительную кружку и потом стал осторожно поворачивать ее. Кружка засветилась в лучах солнца, рисунки задвигались, и он узнал себя в маленьком нарисованном человечке. Это он, молодой и сильный, так легко бежит по тундре навстречу розовому солнцу.

Солнце зашло за горизонт. Стало быстро темнеть. На небе появились первые крупные, но пока неяркие звезды. Пройдет еще немного времени, и небо поседеет от звезд, а потом взойдет луна и наступит свежая, чистая, легкая и недолгая осенняя ночь.

В костер подбросили сухих сучьев, и он задымил с новой силой, потом пыхнул ярким пламенем, осветив лица людей. Текут у костра беседы. Допоздна будут длиться разговоры, потом все лягут спать у горящего костра, подстелив на хворост кухлянки, оленьи шкуры.

А Келевги будет сидеть, смотреть на костер и думать, что завидует он уже не тому, что Тавтав лучше, красивее бегает, а тому, как относится он к своей победе. И в этом старик признает себя побежденным Тавтавом.

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Фролович Рожков

ДИКИЙ ЗВЕРЬ КОШКА

Рассказы

Художник Ю. А. КОРОВКИН

Редактор Л. Н. ЯГУНОВА

Художественный редактор Д. Д. Власенко
Технический редактор В. В. Плоскан
Корректор Г. А. Козеева

Сдано в набор 24/XII 1974 г. Подписано к печати 5/III 1975 г. АХ—00120. Формат 70×108/32. Бум. тип. № 2. Объем 5,5 физ. п. л., 7,7 усл. п. л., 7,65 уч.-изд. л. Тираж 15 000. Заказ 7399. Цена 23 коп.

Магаданское книжное издательство, 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 15

Магаданская областная типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Магаданского облисполкома, г. Магадан, пл. Горького, 9

Рожков Е. Ф.

Р 2 Дикий зверь кошка. Рассказы. Магадан, Кн. изд-во, 1975.

173 с.; 6 л. ил.

Мужество, сдержанность, оптимизм, доброта — характерные черты героев первой книги Е. Ф. Рожкова. Автор стремится раскрыть их душевное состояние, показать психологические мотивы того или иного поступка.

Все рассказы объединены темой Чукотки. Они отражают быт и жизнь человека в этом крае, ставшие здесь повседневностью, но тем не менее удивительные приметы нового социального строя.

Р $\frac{0733-009}{М-149(03)-75}$ 18—75 Р93


23 коп.

